

ТРИЛОГИЯ "МЕЛАНХОЛИЯ"

Эрик Аксл Сунд

Скелетные
тела



CoRpus

ОТ АВТОРА СЕНСАЦИОННОЙ ТРИЛОГИИ
"СЛАБОСТЬ ВИКТОРИИ БЕРГМАН"

Эрик Аксл Сунд
Стеклянные тела
Серия «Лучший
скандинавский триллер»
Серия «Меланхолия», книга 1

Текст предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=24315098
Стеклянные тела: CORPUS; Москва; 2017
ISBN 978-5-17-092451-6

Аннотация

Швецию охватила волна самоубийств: в разных уголках страны подростки лишают себя жизни самыми жуткими способами. Общий знаменатель в этих случаях – старые кассетные плееры с записями музыки, от которой становится не по себе даже полиции и автор которой – некто Голод. Вскоре Йенс Хуртиг, ведущий расследование, понимает, что самоубийства неясным образом связаны с чередой убийств влиятельных людей. И эта связь гораздо страшнее, чем можно было вообразить. Музыка, живопись, подавленные желания и задушенная ненависть, детские душевные травмы, месть, Бог и отсутствие Бога, неутолимая жажда жить и умереть – все это

сплетается в клубок, распутать который пытаются герои романа, каждый по-своему.

«Стеклянные тела» – первая книга из задуманной трилогии «Меланхолия».

Содержание

Фаза первая: Шок	7
Идите к чёрту	7
Хуртиг	12
Ванья	18
Падший ангел	28
Черная меланхолия	29
Симон	34
Хуртиг	38
Айман	43
Ванья	50
Хуртиг	55
Черная меланхолия	63
Хуртиг	69
Айман	72
Симон	75
Иво	76
Хуртиг	79
Айман	83
Хуртиг	89
Ванья	91
Айман	95
Симон	98
Хуртиг	103

Симон	108
Черная меланхолия	110
Айман	113
Конец ознакомительного фрагмента.	116

Эрик Аксл Сунд

Стеклянные тела

© Erik Axl Sund, 2014

© Е. Тепляшина, перевод на русский язык, 2017

© ООО «Издательство АСТ», 2017

Издательство CORPUS ®

* * *

Фаза первая: Шок

«Life is meant to be more than this and this is a bum trip¹».

Идите к чёрту Салем

Ее зовут, как мать Христа, а живет она в южном Стокгольме, в Салеме, который отличается от Иерусалима пятью буквами.

Забытое богом место, думает она, поднимаясь по велосипедной дорожке, ведущей к серому многоквартирному дому. Дом погружен во тьму – снова отключили электричество, в третий раз за неделю; домофон не работает, и она достает ключи.

Руки дрожат – она сама не знает, от страха или от предвкушения.

В целлофановом пакете у нее в руке – семьсот пятьдесят граммов контрабандного русского спирта, а также литр жидкой хлорки.

¹ Жизнь должна быть чем-то большим, чем неудачное путешествие (Лу Рид, «Caroline says II») (англ.). Здесь и далее примеч. перев.

Мария отпирает дверь квартиры и входит в темную прихожую. Ищет стеариновые свечи, ставит их на столик в гостиной, зажигает.

Вынимает телефон. Напоследок ей хочется поговорить с кем-то, кому она доверяет, а Ваня – единственная, кто, возможно, ее поймет. Ване случалось опускаться на ту же глупину.

Это плохо – сравняться с кем-то в том, что ты достиг дна. Это болото, слепая елань бессмысленности, и чем больше трепыхаешься, тем глубже увязаешь.

Гудки плывут, но Ваня не отвечает.

Она ждет. Звонит Ване еще несколько раз. Безуспешно.

Но ей необходимо с кем-нибудь поговорить, и за неимением других – пускай будет Исаак. Они не виделись со времени его последнего мастер-класса в «Лилии», да и знают друг друга не так уж хорошо. Но он ей нравится. Исаак берет трубку прямо перед четвертым гудком.

– Привет, Мария! – Она слышит, что Исаак где-то на улице. Ветер задувает в микрофон. – Как дела?

От его голоса озноб немного отпускает, и Мария бросает взгляд на целлофановый пакет.

– Отлично, – врет она. – Как раз закончила автопортрет, вот!

На том конце фоном шумят волны, хохочут чайки.

Как непохоже на ее собственный саундтрек.

– Слушай, здорово! И нос получился? – Он смеется. Ма-

рия вспоминает, как они часами старались правильно передать ее кривоватый нос.

– Да, думаю, получился, – произносит она, и тут на нее накатывает желание быть честной и рассказать, каково ей на самом деле.

Рассказать об усталости и темноте. И о том, что она собирается сделать.

Но ничего не выйдет. Слова – это стена между ней и миром; ее слова покажутся Исааку набором банальностей.

Ее реальность – не его. Что для нее Эверест, для него – невысокая горка.

– Обалденно получился. – Она давит в себе крик, норовящий прорваться слезами, и отводит трубку ото рта, чтобы Исаак не слышал ее отчаяния.

Как же ей нужно, чтобы он расслышал ее немой крик о помощи! Но Исаак остается глух, и озноб снова пробирается в тело – медленно, но верно. Ничего она не рисовала. Ни единой линии не провела карандашом. Не хочется. Его курс ее не вдохновил, хотя это был отличный курс.

Ей вообще ничего не хочется.

Но она рассказывает о своих великих планах, о том, что ступила на путь, который куда-нибудь да приведет.

Вранье, всё вранье.

И она заканчивает разговор, ощущая пустоту и холод.

Моль мечется, влетела в пламя свечи. Вспыхнула, упала на стол. Обожженная, но еще живая; пусть останется на сто-

ле.

Мария забирает одну свечу с собой в комнату, достает дневник.

Никто не должен прочесть ее записи; вернувшись на диван, Мария вырывает листы из дневника, один за другим, и сминает их.

Воздух вдруг словно становится гуще. На кухне щелкает, потом доносится жужжание. Это холодильник. Дали электричество.

Мария задувает свечи, включает торшер и идет в прихожую, чтобы достать из кармана куртки кассетный плеер. В тот момент, когда она кладет плеер и скомканную бумагу на стол, торшер гаснет. Электричество снова отключили.

Сейчас она сделает себе больно в последний раз.

Мария Альвенгрен смешивает коктейль в темноте, в забытом богом месте, которое всего пятью буквами отличается от Иерусалима. Она не проливает ни капли.

Сто миллилитров водки, сто миллилитров жидкой хлорки.

Ее не рвет, когда она выпивает смертельный коктейль. После второго стакана тоже не рвет. И после следующих.

Она чувствует себя, как ребенок накануне Рождества. Как ребенок, чьи неугомонные пальцы трогают и трясут коробки, обернутые соблазнительной блестящей бумагой.

Ветер холодит голые запястья, когда она открывает дверь

на балкон.

У нее в голове – Голод.

Из-за страха высоты напрягаются ноги. Это рефлекторное, готовность бежать.

Она – добыча, жертва.

Хуртиг

Остров Рунмарё

Последние солнечные лучи окрасили скалы и вершины деревьев розовым. Вода под нависшими ветвями стала в сумерках серо-синей, но рябина еще светилась красным.

Два куска говяжьего филе с печеной картошкой и полбагета, запитые литром пива, сделали плюс семь градусов по осеннему холодного Балтийского моря почти приятными. Исполняющему обязанности полицейского комиссара Йенсу Хуртигу было хорошо. Зазимовавший на мостках шезлонг прогнулся под тяжестью его тела; до арендованного домика рукой подать. Хуртиг чувствовал себя грузным, как островной ледниковый валун.

Хуртиг взглянул на скалы. Считается, что именно эти красные утесы дали острову имя. Древнешведское слово *Rudhne* вполне соответствовало тому, что видел сейчас Хуртиг.

Он услышал, как Исаак с беспокойством в голосе сказал кому-то «Пока!», потом его шаги простучали по мосткам. Хуртиг пытался не слышать телефонный разговор, но кое-что все-таки уловил.

– Одной девушке надо было выговориться, – объяснил Исаак, снова садясь в шезлонг напротив.

Хуртиг кивнул и достал еще пару банок пива из стоящего

на мостках ведра с водой.

– Вот когда они говорят «со мной все в порядке» – тут надо насторожиться, – продолжил Исаак, с водянистым щелчком открывая банку. – Хотя не знаю... Может, я зря дергаюсь.

– С кем ты разговаривал?

– С Марией.

– Ты хорошо ее знаешь?

Исаак провел рукой по волосам, глотнул пива, потом ответил:

– Вообще – не очень. Просто одна девочка из Салема, приходила на мои мастер-классы в «Лилии». Молчунья. Помому, сейчас она слишком разговорилась, это-то меня и тревожит.

– А с сестренкой было наоборот. – На Хуртига нахлынули воспоминания пятнадцатилетней давности. – Всегда любила поболтать, но наш последний разговор вышел очень коротким.

Хуртига растревожило сочувствие, с каким глядел на него Исаак; он отвернулся, посмотрел на море, а потом продолжил:

– Она сказала: люблю тебя, братишка. И всё.

А потом положила трубку, пошла и повесилась, подумал Хуртиг.

Он слышал, как дышит Исаак. Долгие, размеренные вдохи и выдохи, не попадавшие в такт с порывами ветра в дере-

вьях, окружавших домик. По жестяной крыше стучала ветка. Становилось ветрено.

– Это прекрасно, – сказал Исаак, помолчав. – Прекрасное прощание.

– Да. Может быть.

– По-твоему, мне следует беспокоиться за Марию?

– Не знаю. – Хуртиг подумал. – Тебе на нее не наплевать, а быть человеком – значит быть способным к сочувствию, так?

– Что есть сочувствие?

– Сочувствие – это когда не хочешь ранить другого человека или навредить ему, – предположил Хуртиг и отпустил мысли на волю. – Способность вжиться в чувства другого.

– Уметь не сливать негатив на ближнего своего, – констатировал Исаак. – Вот почему политики никогда не бывают по-настоящему человеческими, а может, и художники тоже. Профессии, которые требуют быть социопатом, а то и психопатом.

Хуртиг рассмеялся:

– Хочешь сказать – ты психопат, потому что художник? Ты серьезно или прикалываешься?

– Как художник я нахожусь в позиции, которая позволяет влиять на множество незнакомых мне людей. Должен ли я в таком случае снять с себя ответственность за последствия моей работы?

– Я думал, искусство – это про человеческое общение.

– Да, это *твои* слова. Но сколько людей говорит на *этом*

языке? Нет, для меня общение, коммуникация – это разговор с Марией, который так и не состоялся. Проблема в том, что я испытываю сочувствие к ней, но не знаю, как это сочувствие выразить. Я как будто стараюсь изо всех сил, но на самом деле не достигаю цели, и поэтому все мое сочувствие абсолютно бессмысленно. К тому же Мария разрушает себя, а я не думаю, что можно чувствовать эмпатию к человеку, который сам себя ненавидит.

Исаак выглядел так, словно сказанное им было само собой разумеющимся, – черта, которой Хуртиг завидовал и которой восхищался. Исааку еще не исполнилось тридцати, а сам Хуртиг подбирался к сорока.

– Когда сестренка умерла, я себя возненавидел, – сказал Хуртиг, помолчав. – Думал только про маму и папу. Сочувствие – чувство избирательное, разве это не страшно?

– У тебя была особая ситуация.

– Может быть. Но разве не избирательно все вокруг нас? Люди говорят «сочувствую», но их сочувствие – до определенного предела. Они сочувствуют тем, кто рядом с ними, но им в высочайшей степени наплевать на всех прочих.

Под мостками булькала вода; воздух с соленого Балтийского моря вдруг показался Хуртигу еще более соленым. Ветер усилился, громче застучали ветки по жестяной крыше. Будет шторм, подумал Хуртиг.

– Ты мне нравишься, Йенс, – сказал Исаак с кривой улыбкой.

– Ты мне тоже.

Пиво допили в молчании; вечер начинал дремать, а море – просыпаться. Пена на кромке волн, розовый туман вокруг трех скалистых островков поэтического севера.

Исаак заметил, что Стриндберг начал роман «На шхерах» в деревянном домике на острове. Хуртиг ответил, что понимает, почему, и предложил завтра поехать посмотреть.

– Если этот дом еще там. Или то, что от него осталось.

– Нет, я – в город. – Исаак поставил банку с пивом. – Надо поработать, прежде чем рвануть в Берлин.

Хуртиг подумал о прошлом визите Исаака в немецкую столицу. Он тогда вернулся домой полным новых идей. Будущие картины, грядущие выставки. Уехать из Швеции, из ограниченного мирка художников Эстермальма, где все всех знают, – это как вливание витаминов.

– Хочешь, чтобы я поехал с тобой?

– Да нет. Успеем повидаться до пятницы, до моего отъезда. Ты лучше отдыхай. Не так часто тебе удастся вырваться из города.

– Первая свободная неделя после летнего праздника – нам тогда дали два дня.

– Отпуск на шхерах в конце октября. Довольствуйся тем, что имеешь.

– Скорее, тем, что дают. Хотя у меня совесть немного неспокойна, оттого что я сижу тут каждый вечер, пиво попиваю.

Исаак посмотрел на море.

– Не с чего твоей совести быть беспокойной, – сказал он и положил руку Хуртигу на плечо.

Ветки стучали по крыше.

– Остановись, мгновенье... Ты прекрасно.

Исполняющий обязанности комиссара полиции Йенс Хуртиг рассмеялся:

– Это что?

– Просто объяснение в любви. Из «Фауста» Гёте.

Ванья Сёдермальм

В западной части современного Сёдермальма журналистов гнездится больше, чем где-либо в Швеции. Почти три процента населения профессионально пишут что-то.

Район к востоку от Гётгатан раньше назывался Кнугсёдер, а небезопасную западную часть прозвали Нивсёдер. Позднее, по мере того как район заселялся обеспеченными людьми и цены на жилье росли, название превратилось в более утонченное: Хуммернивсёдер.

Ванье Юрт скоро должно было исполниться шестнадцать; она жила в Нивсёдере с приемными родителями – Эдит и Полом.

Сегодня возвращение домой заняло у Ваньи несколько часов.

Три неудачные попытки заказать крепкое пиво в трех же кабаках Ванья компенсировала двумя банками легкого пива на баскетбольной площадке возле гимназии; потом Ванья направилась к банкомату на Катарина-Бангата – только ради того, чтобы обнаружить, что потеряла карту.

Она как раз собралась уходить, когда заметила того старика. Совсем одинокого, с роллатором, в темноте перед банкоматом.

Ванья увидела, как несколько сложенных пятисоток ис-

чезают в бумажнике. Старик положил сумку для покупок в корзинку ходунков на колесах, после чего медленно обогнул угол и двинулся по Бундегатан.

Ванья последовала за ним. Когда она приблизилась к старику сзади, у нее зазвонил телефон; сигнал резко забренчал между каменных домов и по безлюдной улице.

Вот дерьмо, подумала она; старик остановился, обернулся и посмотрел на нее. Ванья не стала отвечать на звонок.

Вместо этого она решила воспользоваться случаем.

Пока телефон звонил, Ванья выхватила сумку из корзинки и бросилась бежать.

Причитания старика потонули в назойливых сигналах, стихших только после того, как Ванья завернула за ближайший угол.

Ванья припустила по Эстергётагатан – и увидела полицейскую машину.

В десяти метрах от себя. Над передними сиденьями – силуэты двух голов. Повернуть назад Ванья не могла. Бежать мимо машины тоже было невозможно; Ванья понадеялась, что полицейские не видели, как она на всех парах вылетает из-за угла.

Ванья замедлила шаг и, постаравшись принять беззаботный вид, пошла прямо на машину.

Вопли старика стихли. Может быть, ей повезет завернуть за угол до того, как он доберется до перекрестка.

Тут телефон зазвонил снова. Ванья быстро достала его из

кармана и отключила звук.

И пошла дальше.

Еще несколько метров. Повернув налево, на другую улицу, она побежала. Осёгатан и назад, к Гётгатан.

Только у входа в метро на Медбургаплатсен она перешла на шаг.

Сердце готово было выпрыгнуть из груди. Ванья чувствовала себя такой живой.

Когда Мария позвонила в третий раз, Ванья сидела в вагоне метро, держа на коленях сумку старика. Она достала телефон, хотела ответить, но передумала.

Она просто не в состоянии отвечать. Иногда общение с Марией так утомляет.

Перед пересадкой на станции «Слюссен» Ванья обнаружила, что сумка, помимо бумажника с семью пятисотками, содержит таблетки от головной боли и потертый ежедневник.

Она стала листать книжечку.

Ежедневные записи. Подробнейшие наблюдения за погодой, а еще по какой-то причине старик записывал, какие именно большегрузные машины проехали мимо его окон.

Ванья почувствовала, что сейчас расплачется, но, хотя вагон был почти пустой, она решила не давать воли слезам. Слезы – это очень личное.

На стекле перед ней красовалась реклама крупной косметической фирмы. Сногсшибательная дама улыбалась отбе-

ленными содой зубами, и Ванья посмотрела на собственное отражение рядом с рекламой. Иссиня-черные волосы торчат в разные стороны, под глазами темные круги. Некоторые говорят – она симпатичная, но она-то знает, что они врут. Ванья достала из кармана ручку и припомнила блог, который читала последние несколько дней.

«Накрасся так, чтобы тебя перестало быть видно, и не забудь про половые губы! – написала она через все лицо женщины и добавила: – Если у тебя целлюлит – покончи с ним!»

На «Цинкенсдамм» в вагон вошел какой-то потрепанный парень. В руке у него была пачка листовок, и он положил одну на сиденье рядом с Ваньей, после чего направился к другим пассажирам.

Изображение малыша, несколько слов о раке и бедности.

Ванья положила шесть из семи пятисоток на сиденье, поднялась и встала у дверей.

Она успела выйти, прежде чем парень обнаружил ее пожертвование.

Возле станции «Хорнстуль» творилась неразбериха из-за перестройки старой стоянки такси. Политики решили сделать Хорнстуллю подтяжку лица, хотя жители и протестовали. Приемные родители Ваньи, Эдит и Пол, были из активистов, пытавшихся остановить строительство, но их старания оказались напрасными. Над старой площадью теперь высилась галерея из стекла и бетона.

Это – ее, Ваньи, часть города. Здесь она живет. И здесь ей

суждено умереть.

Скоро. Когда придет бандероль.

Ваня зашвырнула сумку старика с таблетками и пустым кошельком в контейнер для строительного мусора, но ежедневник оставила себе. Она возьмет его в «Лилию» и попросит Айман помочь переплести его.

Айман – ее куратор в «Лилии», она из тех немногих, на кого Ваня может положиться. Айман знает, что значит быть изгоем, и в ней есть что-то загадочное, что нравится Ване.

Ваня порылась в карманах. Ручка, пятисотка и одна-единственная сигарета.

Она свернула налево, зашла в «Иса» на Бергсундс-странд, взяла корзину и пошла по рядам. Наполнив корзинку, она встала в очередь в кассу за типом в очках с толстыми линзами и кислым выражением лица. Положив разделитель на конвейер, Ваня принялась выкладывать покупки, потом потянулась к сигаретам, взяла три пачки и положила на ленту. Взялась за лоб.

– Ах да... – пробормотала она. – Кофе... – Она быстро побросала все обратно в корзину и вернулась к полкам. Взяла кофе, протолкнула сигареты в рукав куртки и вернулась на кассу.

– Кофе забыла? – спросила кассирша.

Не в первый раз Ваня проделывала этот трюк; она знала: чтобы все получилось, надо произвести приятное впечатление.

Ребра словно давили на легкие, каждый вдох давался с трудом. Свитер намок от пота. Ванья собиралась украсть сигареты не потому, что у нее не было денег, и не потому, что была слишком юной, чтобы ей их продали.

Она просто хотела еще немного побыть живой.

Пока кассирша пробивала покупки, Ванья укладывала их в пластиковый пакет; закончив, она принялась шарить по карманам.

– Ах, чёрт, – вздохнула она, трогая пальцем пятисотку в кармане, – деньги забыла. Можно оставить пакет здесь? – она указала на пустое место рядом с кассиршей. – Я вернусь через пять минут.

– Давай его сюда. – Кассирша понимающе улыбнулась.

– Спасибо вам огромное, – сказала Ванья и быстро удалилась.

Возле магазина ей встретился парень, она знала его, но имени не помнила. Парень сделал вид, что не заметил ее, но Ванья была уверена: заметил. То, как он отвел глаза в сторону, ее не обмануло. Беги или умри, подумала она.

В девятом классе Ванья переспала с ним, потому что ей стало его жалко. Необязательно встречать пятинадцатилетие девственником. Ей даже пришлось уговаривать этого типа – так он разнервничался. Тем же вечером он обновил свой статус в Фейсбуке, написав, что она шлюха.

Ванья постояла, наблюдая, как он самоуверенно шагает вверх по улице, а потом вошла в подъезд.

Они жили в четырехкомнатной квартире на верхнем этаже. Отремонтированная кооперативная квартира. Ванья поражалась, как Эдит и Полу вообще платят за то, что они пишут. Книжки Эдит, похожие на пособие по изучению собственного пупка, и так называемые глубокие репортажи Пола. Оба пишут на общественные темы, столь превозносимые другими, но Ванья считала, что вся их писанина – о них самих. Двое эгоцентриков. Называют себя левыми, а люстру купили хрустальную, фирменную, за двадцать пять тысяч. Болтовня и теории, никакой практики.

Все вранье.

Войдя в прихожую, она услышала голоса с кухни. Пришел Хольгер Сандстрём; Ванья знала, что он принес деньги. Время от времени он давал тысячу-другую в долг парочке писателей, когда те садились на мель. Хольгеру было под семьдесят, но он до сих пор работал и хорошо зарабатывал.

Как-то летом четыре года назад Ванья жила у Хольгера две недели, пока Эдит с Полом были в отпуске. Хольгер был такой хороший, возил ее и в Скансен, и в Грёна-Лунд... славные вышли две недели.

– Как Ванья? – спросил Хольгер. Ванья поняла, что на кухне не слышали, как она вернулась. – Получше? Нашли общий язык?

– Она в «Лилии» с Марией. Закадычные подружки. – Это Эдит. – Рассказывает мало, но мы думаем – в школе все нормально, и...

– Чушь собачья, – вмешался Пол. – Девчонка ленится. Не дура, но совершенно безынициативная. Всех интересов в жизни – музыка и макароны.

Хольгер рассмеялся.

– Да-да. А макароны вы теперь можете себе позволить. – Он выдержал короткую паузу. – Во всяком случае, если вам по вкусу макароны быстрого приготовления.

– Ты получишь назад все до единого эре, как только выйдет книга, – проворчала Эдит, и Ванья подумала, что подслушивать как-то противно. Она осторожно открыла дверь, а потом как следует хлопнула.

– А вот и она, – сказал Пол, и Ванья услышала, как он кладет нож и вилку на тарелку.

Они сидели за кухонным столом. Эдит курила сигариллу, Пол зажег одну из своих ментоловых.

Только элита и быдло курят дома, подумала Ванья. Им же надо обозначить, что они не какие-нибудь середнячки Свенссоны.

– Ужин остыл, – сказал Пол. Ванья заметила, что вена на лысой голове надулась, как земляной червяк, и поняла, что он раздражен.

– Я ходила в магазин, но потеряла карту, а денег с собой не было.

Эдит затушила сигариллу.

– Я могу спуститься... Все равно мне надо немного размяться.

– Ладно, я схожу, – сказал Пол, – но это, чёрт возьми, в последний раз. – Он поднялся, хмуро глянул на Хольгера и вышел в коридор. Эдит попыталась улыбнуться Ванье. Из-за острых черт лица и темных глаз она казалась злой, хотя злой не была.

Мария часто говорила, что Эдит красивая, но Ванье казалось, что Эдит похожа на ведьму. Пепельно-серые, прямые, как спицы, волосы свисали до самой поясицы.

– Что так поздно?

– Просто ходила погулять, – ответила Ванья. Пожала плечами, повернулась спиной к Эдит и Хольгеру и ушла к себе. Заперла за собой дверь, надежности ради.

Из окна ей был виден молодежный центр «Лилия», по ту сторону воды. Мир тесен.

Ванья вытащила из-под кровати коробку. Сняла крышку и верхний слой – поздравительные открытки, письма от приятелей, сувениры на память о детских каникулах. Двое часов, кое-какие серебряные украшения, брошка из настоящего золота, три мобильных телефона и разные побрякушки, которые она уже сама не помнила, зачем стащила. Почти две тысячи крон наличными были зажаты скрепкой, и Ванья подсунула под нее еще пятисотку старика, после чего закрыла крышку и запихала коробку назад, под кровать.

Подошла к книжной полке и вытащила свой дневник, зажатый между двумя книжками про Гарри Поттера – Ванья получила их от Хольгера, когда ей исполнилось тринадцать

и четырнадцать лет соответственно.

Буквы прыгали перед глазами, но она все же прочитала обе книжки.

Теперь Ванья знала, что она дислексик. А тогда решила, что она просто чокнутая.

Айман говорила, что и Агата Кристи, и Эрнест Хэмингуэй были дислексиками и что писать — это значит рассказывать.

Ванья уселась на пол, подключила динамики к компьютеру и привалилась спиной к кровати. Грохочущий бас потряскивал, словно в струнах были перебои с электричеством.

Ванья открыла дневник и принялась писать. Не потому, что Айман призывала ее к этому, а просто потому, что слова пришли.

И она обещала Марии, что будет писать.

«Что делать, если у тебя нет мечты?»

Певец по имени Голод помогал ей выразить себя; она надеялась, что бандероль с кассетой придет скоро. Тогда она, Ванья, наконец окажется перед выбором, от которого не уйти.

Жить или умереть.

Падший ангел

Мост Лильехольмсбрун

Ранним утром транспорта было мало, и грузовичок службы доставки быстро приближался к мосту Лильехольмсбрун с востока. Тело, врезавшееся в ветровое стекло, пролетело пятьдесят метров и приземлилось на встречной полосе моста. Тормозной путь грузовика оказался почти такой же длины, и когда водитель вылез из кабины, ему стало плохо. Пульс подскочил, дыхание сбилось, его прошиб холодный пот.

Когда на месте трагедии остановилась первая машина, водитель сидел на бордюре и курил.

Остановилась еще одна машина. Кто-то вызвал полицию и «скорую помощь».

Водитель, сидевший на бордюре, закурил новую сигарету. Кто-то потормошил его. Водитель попытался что-то сказать, но у него ничего не вышло. Его словно парализовало.

Ничего не случилось, подумал он. Абсолютно ничего.

Черная меланхолия

Сальтшёбанан

Вообще-то я хотел подождать с Фабианом Модином, но когда увидел его на станции «Слюссен», то соблазнился этим дивным мигом, да и анализ последствий не самая сильная моя сторона.

Решение принять свою судьбу было правильным. Есть справедливость высшая, перед которой отступают юридические законы. Я приобретаю нечто большее, чем жизнь, большее, чем все человеческие чувства. Нечто большее, чем любовь.

Но убивать непросто. Даже если цель благая.

Венчурный капиталист Фабиан Модин стоит спиной к рельсам в конце перрона, вероятно, намереваясь сесть в последний вагон. Мне это более чем подходит.

Смотрю на часы. Следующий поезд на Сальтшёбаден – один из последних вечерних, и я понимаю: то, что я собираюсь сделать, состоится, если в вагоне будет примерно как в тех трех случаях, когда я контролировал выходы.

Я ощупываю внутренний карман. Нож на месте. И пробирка.

Когда поезд останавливается и двери открываются, я захожу в тот же вагон, что и Модин, и сажусь через пару мест от него. Теперь я вижу, что он пьян, и меня поражает, что он ни

на день не постарел с тех пор, как я видел его в последний раз.

Мне было шесть лет, когда жену Фабиана нашли в гараже, и папа сказал, что самоубийцы попадают в седьмой круг ада вместе с убийцами. Убийц варят в крови; самоубийцы же накрепко врастают в деревья, чтобы они больше не могли причинить себе вред.

Когда я спросил, что случается с теми, кого убили, отец ответил, что они отправляются на небеса, если только они сами не грешники. И что самоубийство – грех вдвойне.

Я сидел на персидском ковре в отцовской библиотеке и копался в разбросанных передо мной книгах. Из соседней комнаты доносились голоса взрослых. Больше всех говорил папа, но иногда было слышно и Фабиана. Они не ссорились, но и не приходили к согласию.

Фабиан считал, что им надо расширяться и найти помещение в городе, а папа думал, что следует подождать и пусть община растет медленно. Вспомни, что Иисус сравнивал Царствие Небесное с горчичным зерном, сказал папа, а Фабиан хмыкнул. Оно меньше всех семян, но когда вырастает, делается больше прочих растений и становится деревом.

Папа сказал, что Фабиан – приколист, а я знал, что это правда, потому что Фабиан с мамой часто смеются вместе, когда папа выходит вынести мусор. Фабиан такой выдумщик, он берет нас с собой в Гримстаскуген; там мы ищем насекомых и прячемся от троллей.

Я чувствую, как его небритый подбородок касается моего живота; щекотно совсем не так, как он думает, что щекотно. Щетина царапается, и мне больно. Пахнет сыром, пылью и кожей.

Когда поезд отъезжает от станции, вагон полупустой. Большая часть пассажиров – юнцы, возвращаются домой из пивных, но есть и пенсионеры. Мы въезжаем на разводной мост возле Данвикстулля, и свет с Шёстаден отражается в темной воде озера Хаммарбю. В окне угадывается отражение Модина; он как будто задремал. Голова упала на грудь, он тяжело дышит. Рядом со мной висит схема линии Сальт-шёбанан, и я подсчитываю, что жить ему осталось четырнадцать станций.

На станции «Накка» половина народу выходит. Новых пассажиров нет. На перроне сидят на скамейке какие-то ребята, покуривают. В поезде нас осталось человек десять от силы.

В вагон входит кондуктор, проверить билеты; механический голос едва слышно сообщает, что мы скоро прибудем на станцию «Сальтшё-Ерла».

Я отворачиваюсь, пока кондуктор проверяет магнитный билет.

Проезжаем Лилльэнген и Стурэнген. В Эстервике я вижу, как косули пасутся под большим, похожим на призрак деревом со странными, остро торчащими ветками.

Когда мы делаем остановку в Фисксэтра, Фабиан Модин

вздрагивает и поднимает глаза.

Я снял с полки толстую семейную Библию в коричневой коже, положил на мягкий ковер и стал читать слова на обложке. «Библия, Священное Писание на шведском языке; по Высочайшему Повелению Короля Карла Двенадцатого».

Мне нравилось перелистывать ее, рассматривать иллюстрации. Моя любимая была – побиение камнями святого Стефана. Первого христианского мученика.

Одним из бросавших камни в Стефана был Павел. Тот самый, который потом раскаялся и обратился в истинную веру.

Мне было шесть лет, и я размышлял об Иисусе. Если Он терпим и полон любви ко всем, означает ли это, что надо быть нетерпимым и ненавидеть тех, кто не верит в Него?

В комнату вошла мама, спросила, не хочу ли я бутерброд. Мама была толстая, потому что у меня скоро должен был появиться братик или сестричка. Я ответил, что не голоден, и продолжал рассматривать картинку.

Я сую руку в карман, ощущаю холодную сталь. Острое лезвие.

Давление в голове усиливается, я чувствую, как сжимаются челюсти. Как будто то, что у меня в мозгу, растет, стараясь распространиться по всему телу. То, что поначалу было одержимостью, теперь превращается в кошмар, которого я боялся больше всего на свете. Не быть господином своим

мыслям.

Не владеть своим собственным телом.

– Станция «Игельбода». Пересадка на поезд до Сольсидан.

Мы смотрим друг на друга, и Фабиан Модин не узнает меня. Он рыгает и принимается шарить в кармане пиджака.

Еще несколько человек вышли на «Неглинге», и на Рингвэген мы в конце концов остаемся одни в вагоне.

На станции «Сальтшёбаден» я достаю нож.

Чувствовать вину – удел невиновных и тяжелое бремя, сказал Фабиан Модин, когда я спросил его про Павла.

Симон

Квартал Вэгарен

Он услышал, как в гостиной кто-то зевнул. Отбросили одеяло, потом тяжелые ноги затопали по полу в туалет. Кто-то, фыркая, плескал водой себе в лицо.

Он стащил с себя одеяло и вылез из кровати. Волосы пахли кислым – из-за пива, которым они облили друг друга. Он вспомнил, как какие-то вконец очумевшие существа последовали вместе с ним к нему домой – ребята в чересчур изысканных нарядах. А когда он сказал им, что они ненастоящие, они как взбесились. Он надеялся, что гости убрались восwo-яси.

Он потянулся за книжкой. «Наставления отцу» Петера Чильгорда. Вспомнил никчемность сына, утверждающего, что восхищается своим отцом, а на самом деле ненавидит отцовское превосходство. Все, что отец дал своему сыну, – это чувство вины и угрызения совести из-за того, что он не оправдывает родительских ожиданий. Не задевать планку при прыжке в высоту, нырять с пятиметровой вышки или понимать, почему единица в нулевой степени будет единица – это безумие называется «пустое произведение».

Ты никуда не годишься.

Он услышал, как открылась дверь туалета, и отложил книгу.

– Симон, я отчаливаю. – Эйстейн стоял в дверном проеме. Глаза красные, воспаленные, с остатками туши. На руках виднелись новые раны, иные по-настоящему глубокие. Кажется, вчерашний вечер, несмотря ни на что, удался.

Впрочем, выступление в Упсале было так себе. Вяло-равнодушное выступление, недостойное Голода.

Натягивая джинсы, Симон зацепился пальцами ноги за дыру на колене, и ткань порвалась.

– Мне нужно что-нибудь к вечеру. Устроишь? – Он подошел к комоду. – Если добудешь мне кое-что, сдачу можешь взять себе. О'кей?

Эйстейн кивнул; Симон понимал, что Эйстейн его надует. Купит ровно столько – или меньше, чем столько, – сколько, по его мнению, требуется Симону, а сдачу положит себе в карман. Выживает сильнейший. Ни один лев не скажет «спасибо, я сыт» при виде слабого или больного буйвола. У слабого нет права на существование, слабый должен умереть. Таковы правила, нравятся они тебе или нет.

– Но смотри, мне нужен первоклассный товар, – добавил он.

Из-за распространения субоксона и метадона некоторые наркодилеры стали чуть не даром раздавать свое дерьмо, лишь бы приобрести новых покупателей, а желая снизить расходы, они смешивали наркотик с чем попало. В ход шло все, от сахара и хинина до опасных для жизни сердечных препаратов.

Симон отпер верхний ящик комода. В ящике лежали четыре пакета с деньгами; он открыл один и выдал Эйштейну две купюры по пятьсот крон.

– Чёрт, ну и бабок у тебя!

Отец Симона платил ему за отсутствие десять тысяч в месяц, и этого хватало на квартиру и еду. Единственным требованием отца было не появляться дома, а это не бог знает какая жертва для Симона. Скорее – освобождение.

Эйштейн забрал деньги; они с Симоном договорились увидеться позже.

Когда Эйштейн скрылся, Симон прошел в кухню. На полу в разной стадии пробуждения полудремали трое каких-то парней. Симон пнул одного в спину:

– Проваливай к чёрту.

В отсутствие Эйштейна альфа-самец – он, Симон, даже если он тощий, как спичка.

Молодой человек перекатился на спину и потянулся.

– *Сорри...* – Потом он улыбнулся. – Как же классно вчера было, а! Голод такой крутой...

– У него бывали выступления и получше, – фыркнул Симон.

Парень сел и потер глаза.

– У него? Голод с тем же успехом может оказаться девчонкой. Его ведь никто никогда не видел?

– Понятия не имею, кто он. Да какая разница. Буди своих наркуш и выметайтесь.

Парень зевнул, показав сухой желто-коричневый язык.

– Ты здесь живешь?

Во взгляде Симона презрения и сочувствия было поровну.

– Нет, – ответил он. – Того, кто здесь живет, можешь считать мертвецом.

Хуртиг Сибирь

Лет сто назад на переезд в северо-восточный район Васастана смотрели как на ссылку в места не столь отдаленные, так что и по сей день район этот носит прозвище Сибирь.

Йенс Хуртиг снимал двушку в пятьдесят семь квадратных метров, которая ощущалась как тесная и пустынная одновременно.

Он проснулся раньше сигнала радиочасов, но проснулся не отдохнувшим. Так обычно бывало в первый день после отпуска; Хуртиг еще повалялся в кровати, потом оделся и прошел в гостиную. Вчерашняя прогулка на Рунмарё все еще отзывалась в ногах.

Исаак спал на диване одетый, завернувшись в два одеяла. Наверное, прихватил с собой в Стокгольм холод из домика на шхерах. Когда они приехали туда, было четыре градуса, и за все проведенные там дни температура так и не переползла отметку в семнадцать градусов.

Хуртиг подумал о своих родителях, живущих в Квиккьёкке.

Для них семнадцать градусов дома в ноябре — роскошь. Мерзнут они по другой причине. Дочь, покончившая с собой, сделала их жизнь холодной, и неважно, что с тех пор прошло уже пятнадцать лет.

На кухне Хуртиг включил кофеварку; когда она зафыркала, Хуртиг услышал, как зевает Исаак. Через минуту Исаак вошел с утренней газетой под мышкой.

Исаак сейчас искал новую квартиру – вот как получилось, что он ночевал на диване у Хуртига. В Стокгольме так сложно найти жилье, что иметь хороших друзей просто необходимо.

Хуртиг подумал, что Исаак бледен какой-то нездоровой бледностью, выглядит почти больным, хотя он, верный своей привычке, уже успел смазать лицо кремом и гладко причесать длинные волосы. На плече угадывался никотиновый пластырь. Может, он потому такой разбитый, что пытается бросить курить.

– Такое ощущение, что я проспал, – сказал Исаак. – Сколько времени?

– Всего четверть седьмого. Успокойся. Ты успеешь на поезд, и потом, ты ведь ночевал у меня, чтобы не нестись на вокзал из самого ателье в Вестерберге?

– Не в этом дело...

Исаак сел за стол и тут же включил радио. Такой уж он. Ему нужно, чтобы вокруг постоянно были звуки. Хуртиг совсем другой. Ему лучше думается в тишине.

По радио сообщили, что в электричке в районе Сальтшё-бадена был ножом убит пассажир.

Хуртиг сделал погромче, гадая, кому из его коллег выпало сомнительное удовольствие разбираться с дюжиной но-

жевых ранений – Шварцу или Олунду.

У Исаака сделался тревожный вид.

– Что такое? – спросил Хуртиг.

Исаак заерзал.

– Я начинаю сомневаться, что Берлин – то, что нужно именно сейчас. Я целую вечность не писал ничего стоящего, у меня такое чувство, что мое искусство – искусство прошлого.

Хуртиг подумал – жалко, что Исаак придает такое значение работам других художников.

– Поезжай в Берлин. Все хорошо будет. Может, тебе повезет, как в прошлый раз.

Четыре года назад Исаак встречался с группой бизнесменов, и после недолгих переговоров они согласились спонсировать его. Выделили большую сумму денег.

– Такая удача выпадает раз в жизни, – сказал Исаак. – Я едва начал работу, к тому же они понятия не имели, за что платят. И теперь все по-другому. Никого из моих старых друзей там не осталось. Даже Ингу нет – а я думал, что он просидит в Берлине до конца жизни. Мне будет там одиноко. – Исаак серьезно посмотрел на Хуртига. – Ты не можешь поехать со мной? Так спокойно, когда рядом человек по-настоящему близкий. Возьми отпуск на пару дней или больничный. Плюнь на долг.

– Ты же знаешь, я не могу поехать с тобой, – сказал Хуртиг, хотя такая возможность была очень соблазнительной.

Исаак вздохнул и продолжил листать газету. Хуртиг рассматривал его.

Одним из лучших качеств Исаака было то, что он легко сходился с людьми, люди быстро начинали доверять ему. Йенс умел оценить социальные таланты Исаака. Сам он предпочитал не раздувать огонь, имея только сырые дрова.

Хуртигу показалось, что он видит несколько неглубоких еще горьких морщин у Исаака вокруг рта, но тот поднял глаза, и морщины исчезли. У Исаака переменчивый нрав, и теперь он выглядел любопытным, почти заинтересованным.

– Ага! – Он положил газету на стол и помахал почтовым извещением. – Это что?

– Всякие компьютерные штуки, – соврал Хуртиг. Он знал, что пришла одна из двух консолей для видеоигр, которые он ждал. Исаак поднял бы его на смех, узнай он, что Хуртиг готов платить всего лишь за ностальгию. «*Atari Home Pong*» 1975 года за сто долларов или «*Coleco Telstar*» 1977 года за семьдесят долларов. Обе добыты на интернет-аукционах.

– Тебе почти сорок, ты на десять лет старше меня, – рассмеялся Исаак, – а все еще с ума сходишь по единичкам и ноликам. Это какая-нибудь видеоигра. Признавайся.

Хуртиг хотел было возразить, что в играх нет ничего незаконного, но они, к сожалению, недооценены современной культурой, когда по радио прозвучала новость о несчастном случае на хорнстульской стороне моста Лильехольмсбрун.

Мужчина, чья личность не была установлена, попал под

грузовик.

Айман

Квартал Вэгарен

Ее жизненный путь начался в Алма-Ате, продолжился через Тегеран, Минск и Евле, и наконец она оказалась в квартире на Фолькунгагатан в Стокгольме.

Она довольно скоро обосновалась в городе: устроилась библиотекарем, занялась переплетным делом и дала волю пристрастию к мелочам. Со временем она отказалась от грандиозных планов и забыла свои мечты. Время текло быстро, двадцать лет пролетели в мгновение ока.

Дом, в котором Айман Черникова жила с тех пор, как приехала в Стокгольм, – большая оранжевая коробка с маленькими окошками, стоящая напротив станции метро «Медбургарплатсен». Дом считался одним из самых уродливых строений столицы, соперничая за это звание с Высшей архитектурной школой в Эстермальме.

Дом походил на сейф семидесятых годов, но Айман любила его. Квартира была просторной, внутренний двор прелестным, и пусть фасад смотрится почти гротескно – из квартиры же его не видно.

Перед тем как перейти улицу, Айман посмотрела вверх, на свои три окна. За жалюзи окна в гостиной стоял монокуляр. С улицы он угадывался просто как черная тень, и его вполне можно было принять за торшер.

Айман доставляло уютное удовольствие наблюдать мир через этот цилиндр. Поврежденный глаз в эти минуты отдыхал, и Айман чувствовала себя в безопасности. Она наблюдает, она не шпионит, она никогда не направляет подзорную трубу на окна по ту сторону улицы. То, что происходит за этими окнами, ее не касается. У себя дома человек должен пребывать в мире, а вот люди внизу, на улице, оказывались в поле зрения.

Айман набрала код и стала подниматься по лестнице пешком.

С тех пор как дитя у нее в животе заявило о себе в виде нескольких дополнительных килограммов на бедрах, Айман старалась как можно больше двигаться.

Вскоре она стояла во внешнем коридоре у двери своей квартиры, ища ключи в сумочке и поглядывая на окно кухни. За стеклом угадывалась черная тень и два желтых глаза. Айман слышала мяуканье; кот вылизывался, сидя на подоконнике между цветочными горшками.

В тот момент, когда она нашла ключи, забившиеся между пудреницей и кошельком, открылась дверь соседской квартиры.

– Здравствуйте, – сказала Айман молодому человеку, шагнувшему в коридор.

Молодой человек с занавешенным длинными черными волосами лицом обернулся к ней и молча кивнул, после чего уставился в пол. Айман подумала – не хочет ли он извинить-

ся за вчерашнюю вечеринку. Грохот стоял что надо, и Айман проворочалась без сна почти до утра.

Замок лязгнул синхронно со связкой ключей, и Айман тут же услышала, как кот точит когти о дверной косяк с той стороны.

У молодого человека было пустое бледное лицо.

– Вашего кота зовут Бегемот, да?

Айман отметила, что они разговаривают в первый раз.

– Да... Но я обычно зову его Мот.

– Но не когда злитесь на него.

Он слегка распахнул потертую кожаную куртку и показал Айман свою футболку. «Бегемот» – значилось на ней готическими буквами поверх символа: крест и крылья ворона.

Потом он повернулся и пошел прочь. Когда его долговязая фигура с тощими ногами скрылась за углом, Айман закрыла дверь. Мот сидел на коврикe в прихожей и мяукал.

Сняв хиджаб, Айман набросила его на вешалку-шесть, растянула заколку и встала перед зеркалом, встряхивая волосы рукой.

Беременность не была заметной, и не только из-за мешковатой одежды. В ее роду это генетическое, наследственное. Поколения поздних первородящих с маленькими животами, и вот теперь – ее черед, сорок три года – и лишь едва заметная выпуклость, хотя она на шестом месяце.

Она стала рассматривать свое лицо в бледном электрическом свете, льющемся с потолка. Айман значит «прекрасная,

как Луна», но она считала, что красота – это вопрос дефиниций. Луна, конечно, прекрасна, если ты в хорошем настроении, а если нет, ты видишь только шероховатые кратеры и бледно-желтый болезненный цвет. Шрамы после прыщиков и желтоватый оттенок кожи уроженки Южного Казахстана – многие шведы принимали ее за персиянку или пакистанку. Оттенок проступал сильнее, когда Айман носила белый хиджаб – вот почему она чаще всего выбирала черный. Он делал лицо более светлым, более шведским.

Зрачок поврежденного глаза казался очень маленьким под падающим сверху светом, но все равно видно было, что он увеличен.

Бегемот замурлыкал и потерялся о ее ногу. Айман наклонилась, и в ладонь ткнулся кошачий нос.

В «Мастере и Маргарите» Бегемот – говорящий кот, который ходит на задних лапах и появляется в Москве в компании с дьяволом.

А еще это имя библейского зверя, рожденного во влажных углах подземелья. Чудовище, у которого ноги, как медные трубы, кости – как железные прутья.

Мысли Айман прервал зажужжавший телефон.

Звонил коллега из «Лилии»; во время беседы Айман навела в квартире порядок. Собрала одежду в прихожей, повесила хиджаб к остальным покрывалам в стоящий в спальне шкаф.

Коллега сказал, что беспокоится за Марию.

– Ты связывалась с ней?

– Нет, – ответила Айман. – Мы не так хорошо знаем друг друга, я работаю в основном с Ваньей, но, может, Исаак знает ее? Ты говорил с ним?

– Да, он пытался дозвониться до нее, но безуспешно. А сейчас он собрался в Берлин.

«Берлин?» – подумала Айман, припоминая, что познакомилась с Исааком почти четыре года назад. А чуть позже он представил ее художнику Ингу, писательнице Эдит и журналисту Полу, которые, вот забавно, оказались приемными родителями Ваньи. Группка шведов, образовавших творческий мини-кластер в Берлине.

Теперь их объединяло название «Лилия», хотя Ингу не преподавал там с тех пор, как заболел. После кровоизлияния в мозг, случившегося в день его шестидесятипятилетия, Ингу жил в пансионате в Стрэнгнэсе, и Айман мучили угрызения совести из-за того, что она давно не навещала его. Может, предложить Исааку съездить к нему вместе?

С Эдит и Полом она теперь тоже общалась редко, ограничиваясь только телефонными разговорами, да и то чаще всего, если дело касалось Ваньи.

– Я сегодня встречалась с Ваньей в «Лилии», – сказала Айман коллеге. – Она понемножку начинает заниматься переплетным делом. Я могу спросить ее, куда запропастилась Мария.

Когда они попрощались, Айман почему-то вспомнила

первые слова Исаака, обращенные к ней. Они встретились в баре гостиницы в старом Восточном Берлине. «*Ich liebe dich*²», – сказал он, и когда она спросила – почему, он ответил, что просто заучил эту фразу.

Это был период, когда Айман чувствовала какую-то безмерную незащищенность. Она словно ступала по стеклянной крыше, смертельно боясь, что та треснет. Может, из-за тех трех слов она и открылась перед Исааком? *Ich liebe dich*. Айман не знала. Но, во всяком случае, она рассказала Исааку, что находится в Берлине потому, что сбежала от своего брата.

Насыпав Бегемоту сухого корма, Айман села у монокуляра и открутила закрывающий линзу экран.

Иногда ей казалось, что незнакомцы там, внизу, на улице, заменили ей настоящих друзей.

Вот почтальон входит в подъезд дома напротив. Это молодой человек, который частенько – непонятно почему – подолгу задерживается именно в этом подъезде, и Айман выяснила, что причина – живущая там женщина. Почтальону едва исполнилось двадцать, а женщина уже весьма зрелого возраста.

Почти каждый день происходило пугающее свидание между тем, что цветет поздно, и тем, что цветет рано, и все это Айман знала, ни разу не направив свою трубу на окна той женщины.

² Я люблю тебя (нем.).

Она не шпион.

Вскоре письмоносец, улыбаясь, вышел из подъезда; пошел дождь, и люди попрятались или заторопились по тротуарам. Какой-то мужчина с карликовым пуделем на поводке – дождь застал его врасплох – накрыл голову кожаной курткой, а собачка скакала рядом; на автобусной остановке женщина жалась под зонтиком, а маленькая девочка прыгала в луже на тротуаре, не обращая внимания на дождь. Дети и животные пользовались случаем и наслаждались от души.

На другой стороне улицы Айман заметила человека, похожего на ее соседа, тоже одетого в черное и с длинными темными волосами. Кажется, дождь ему несколько не мешал.

Ванья

Нивсёдер

– Да сделай же потише! – заорал Пол, вставая в дверях.

Ванья обернулась и посмотрела ему в глаза.

– Тебе мешает? – спросила она и улыбнулась своей самой приветливой улыбкой. Ей хотелось взбесить его, вывести из себя. Стать трещиной на фасаде, мухой в супе или ячменем на глазу. Он особенно раздражительный, когда выпьет. А выпивает он в последнее время часто.

Пол прошагал к стереосистеме и выключил ее.

– Что за дерьмо ты слушаешь? – спросил он и уселся на край кровати.

– Тебе такого не понять, – ответила Ванья, по-прежнему улыбаясь. – Ты слишком занят собой. Слишком боишься.

– В каком смысле боюсь?

– Ты не осмеливаешься видеть мир таким, какой он есть.

– А ты, конечно, осмеливаешься. Или эти, которых ты слушаешь.

– Ага.

– Что за группа?

– Это не группа. Это мы с Марией.

– Почему ты мне ничего об этом не рассказывала?

– А ты спрашивал?

– Как называется песня?

– «Гниющая земля». «Земля» через «е».

– И я – тоже пропащая душа? Как там сказано?

При виде его натянутой улыбки Ванья все поняла. Явился злой как чёрт, а теперь хочет перемирия и потому притворяется заинтересованным. Отличная возможность еще по-злить его; Ванья полистала свой дневник. Нашла текст Марии. Прочитала вслух:

– «На земле без людей никто не спросит, что такое добро и что такое зло. Жизнь есть жизнь, тараканы это или гомо сапиенс. Жизнь может быть вакуумом. Земля просуществует и без людей. На земле без людей мораль из правил жизни превращается в помеху. Слабый не должен жить. На земле без людей этика лишь тщеславие и роскошь».

– Я, может, несколько старомоден, но разве текст песни не должен быть в рифму?

– Сейчас будет пауза. Мария читает, а потом мы понизили звук.

– Понизили звук?

– Да. Сейчас это можно сделать.

– О'кей. Послушаем.

Ему все еще интересно, подумала Ванья. Он сегодня терпеливый.

– «Земля – царство боли и агонии. Она творение Сатаны в той же мере, в какой она – творение Бога. На земле без людей невыдуманный Бог существовал бы ради себя самого. Сшлифовальным диском над радужной оболочкой – слепота

существует лишь для зрячих. Слава тебе, Сатана. Слава тебе, Бессмысленность. Да здравствует все, что рождено, чтобы умереть. Да здравствует пустота, тьма и боль. Омега».

Ванья отложила дневник.

– Ты что, сатанистка? – спросил Пол, и на виске у него снова надулась жила.

– Дурак.

Пять секунд молчания. Ванья предположила, что он успокоился.

Она надела наушники и подключила их к стереосистеме. Включив музыку и увеличив громкость, она увидела, как Пол поднимается с кровати и выходит.

И вид у него при этом грустный.

Она открыла глаза в полной темноте и попыталась не думать.

Мария получила бандероль – и сделала это.

Мария решилась.

Ванье не хотелось вспоминать разговор с матерью Марии. Слезы, непонимание и вранье: мол, она понятия ни о чем не имела.

Прокладка вонючая, подумала тогда Ванья, однако промолчала.

Надо было сказать: «Я знаю, что ты знаешь, почему Мария покончила с собой. Слушай, ты, жирная, вечно жрущая чипсы шлюха. Ты пьёшь, и у Марии больше не было сил под-

тирать твою блевотину. Она больше не знала, что говорить, когда звонил твой начальник и спрашивал, почему ты не на работе. Вранье закончилось, и она не знала, что говорить в страховой кассе, на бирже труда, домовладельцу, в банке, судебному исполнителю, чёрту в ступе... Мария хотела другого, но ты стояла у нее на пути».

Но Ваня всего этого не сказала. Она только молчала и всхлипывала.

Ваня ненадолго зажмурилась. Никакой разницы, открыты у тебя глаза или закрыты. Чернейшая чернота. Она знала – если сидишь в подвале без окон, то в этом подвале станет в пятьдесят тысяч раз темнее, если туда проникнет луч солнца.

Иными словами, абсолютная чёртова темнота. Вот как сейчас.

Чернота, которую можно резать ножом. Чернота, которую можно есть.

В полной темноте все одинаковы, думала она. Никто не красавец, и никто не урод. Ни высокий, ни низкий. Абсолютная темнота – это справедливость, и все такие, какие есть.

Слепота должна быть обязательным условием жизни.

Ходят слухи, что Голод выколол себе глаза вязальными спицами. Якобы есть фотографии, доказательство. Все ради абсолютного безучастия, чтобы только мысли – главное.

В темноте мы все одинаковы, думала Ваня, надеясь, что ее бандероль никогда не придет.

Я хочу жить, ведь мое желание умереть так сильно, что я хочу наслаждаться этим чувством как можно дольше.

Хуртиг

Квартал Крунуберг

В первый день после отпуска обычно наваливается много дел, но еще тяжелее Хуртигу бывало адаптироваться к повседневности. Дни, проведенные на Рунмарё, не пролили, как он надеялся, бальзам на его душу. Конечно, он дышал свежим воздухом, валялся в шезлонге, у него была приятная компания в лице Исаака, но все же что-то его угнетало. Его тревожило, что он идет печально известным путем. Апатия скоро станет национальной болезнью.

Хуртиг подумал о Жанетт Чильберг – своей начальнице, которая пребывала в отпуске по причине выгорания. Жанетт не было уже почти год, и Хуртиг опасался, что она вообще не вернется.

«Вот что такое – наша работа?» – думал он. Коллеги в полицейской форме посвящают один процент своего рабочего времени пешему патрулированию, хотя бытовые преступления составляют восемьдесят процентов всех поданных в полицию заявлений. Выгорание при таком раскладе – совершенно естественная реакция.

Хуртиг положил отчет в стопку исходящей почты. Через несколько часов отчет окажется в точно таком же лотке входящей почты, на таком же столе в кабинете прокурора.

Последнее дело, касавшееся довольно гнусных побоев, с

большой вероятностью не приведет к обвинительному приговору. Может, даже до суда не дойдет. Жертва – законная половина преступника, а то, что ее супруг из знаменитостей, придаст делу слишком большую огласку в прессе. Особенно в бульварных газетках, которые вечно рыщут в поисках материала. Правда, неправда, чистые спекуляции – не имеет значения. *The show must go on*³, а назвался груздем – полезай в кузов, подумал Хуртиг; в эту минуту дверь открылась, и в кабинет вошел его командир, начальник участка Деннис Биллинг.

Шеф подтащил к себе стул для посетителей и уселся.

– Если верить Олунду, ты закончил дело о побоях и тебе пока нечем заняться. – Шеф положил на стол стопку бумаг. – Верно?

Хуртиг кивнул.

– Отчет готов. Нечем заняться? – Он взглянул на часы. – Да. Примерно последние секунд десять.

– Отлично. Тогда возмись-ка за это. – Биллинг указал на принесенные бумаги.

– Что там?

– Несколько самоубийств.

– Самоубийства? – Хуртиг наморщил лоб и бессильно вскинул руки. – Почему я должен заниматься самоубийствами? Отдай лучше Шварцу или Олунду.

– У них и так есть, чем заняться. Шварц устанавливает

³ Шоу должно продолжаться (англ.). Строка из песни группы «Queen».

личность одного парня, который попал под курьерскую машину возле Хорнстулля, а Олунд занят случаем убийства с целью грабежа в Сальтшёбадене.

Так вот о чем сообщили в новостях по радио, подумал Хуртиг и кивнул в ответ.

Биллинг вынул из кармана плаща пластиковый пакет.

– Я поручил тебе заниматься самоубийствами, потому что они явно сложнее, чем убийство с грабежом. – Шеф размотал пакет, и Хуртиг увидел, что в нем кассета.

– Это что?

– Общий знаменатель и то, что совершенно сбивает с толку.

– Растолкуй, – попросил Хуртиг, против воли чувствуя любопытство.

– Все началось в маленькой коммуне в Естрикланде примерно год назад. Одного парня из Кунгсгордена нашли мертвым в сарае. Он взобрался на самый верх лестницы, накинул петлю на шею, надел наушники и закрепил веревку на потолке. Потом стал ждать. Согласно отчету местной полиции, лестница была метров пять в высоту и прикреплена к двери цепью. Когда отец парня стал заводить трактор в сарай, дверь открылась, и лестница упала. Мальчик пролетел метра дватри. Перелом шеи, смерть.

– Вот же черт, – сказал Хуртиг. – И он слушал эту кассету? – Он указал на пакет, который Биллинг держал в руках.

– Именно.

– Интересно, почему у него музыка была на кассете, а не в телефоне или mp3-плеере?

– Это еще не все. – Шеф перевел дыхание. – Недавно всплыл еще один подобный случай. Молодые люди лишают себя жизни такими же... – Он поискал слово. – Такими же изощренными способами. И все в момент гибели слушали музыку.

– Значит, такая кассета не одна?

– Пока четырнадцать штук, но кто знает, может, и еще объявятся. Другие кассеты исследуют, ты получишь ответ в течение дня. Эту уже проверили, отчет техников – среди прочих отчетов.

– Ладно.

Несмотря на любопытство, Хуртиг не был уверен, что хочет заниматься этим делом. Мысли перешли с сестры на работу Исаака с подростками в «Лилии». С молодыми людьми, которые отчаялись, едва начав жить. Иногда такие выживают, иногда – сдаются.

– Я прочитаю, – сказал он, – и если, как и ты, обнаружу тут что-то примечательное, то пойду дальше, а если нет – тебе придется найти кого-нибудь другого на это дело.

Начальник участка кивнул.

– Есть новости о Чильберг?

– Только то, что она все еще не на работе.

– Печально, очень печально. – Биллинг вздохнул и поднялся. – Дай знать, как закончишь. – И он вышел, не закрыв

за собой дверь.

Хуртиг взял пакет и стал рассматривать кассету. «*Maxwell C-90*»; он вспомнил, как подростком записывал на такие кассеты музыку с радио. На одну сторону – «*The Smiths*», на другую – «*The Jesus and Mary Chain*».

Он позвонил по внутреннему телефону и попросил техников как можно скорее принести ему магнитофон.

Потянулся к стопке бумаг, положил перед собой и принялся читать.

Мальчик из Кунгсгордена до самоубийства несколько раз имел дело с отделением детской и юношеской психиатрии: повторяющиеся случаи саморазрушительного поведения. До сих пор у Хуртига было предвзятое мнение – он считал, что только юные девушки режут себе руки; однако теперь он сообразил, что и юноши на такое способны.

Беседа с родителями мальчика не добавила ничего, кроме того, что самоубийство было не вполне неожиданным. Хуртиг снова подумал о своей сестре. Там все обстояло иначе. Хотя она сделала две попытки самоубийства, никто не думал, что она повторит их. Налицо были признаки улучшения. Она уже начала выбираться из депрессии.

Следующий случай – девочка из Вермланда. Бросилась под поезд. Она тоже, надев наушники, слушала музыку в момент, когда смерть явилась к ней в виде товарного поезда, следовавшего на оружейную фабрику «Буфорс» в Карлскуге.

То же саморазрушительное поведение, такие же беспо-

мощные родители.

Третий отчет описывал, как двое четырнадцатилетних братьев-близнецов заперлись в родительском гараже, завели мотор семейного автомобиля и на холостом ходу насмерть отравились газом. Два магнитофона, двое наушников и две кассеты. Согласно отчету, музыка на одной кассете длилась ровно на минуту меньше, чем на другой, и Хуртиг невольно признался себе, что разделяет подозрения Биллинга. Речь явно шла о чем-то большем, нежели простые самоубийства.

Пришел техник, поставил на стол добытый для Хуртига магнитофон. Тут же в дверь снова постучали. На этот раз Олунд.

– Ну как? – спросил Хуртиг.

– Топчемся на месте.

Хуртиг встал и пододвинул стул для посетителей.

– Садись, расскажи про тот грабеж с убийством в поезде.

Олунд вздохнул.

– Двенадцать ударов ножом в грудь из-за двух сотенных бумажек. Чёрт знает что.

– Вы уверены, что это грабеж?

– Да, это вполне очевидно. При жертве не оказалось кошелька. Тамошняя полиция считает, что это подростковая банда и что преступник уже есть в базе данных. Мы разберемся с этим делом, даже если сейчас у нас нет зацепки. Свидетелей пока не нашли, а в поездах нет камер наблюдения.

– А жертва?

– Фабиан Модин. Венчурный капиталист. Не вполне безупречен, если я правильно понял.

Бедность порождает нужду, а нужда порождает насилие, подумал Хуртиг. Но он сейчас не мог высказывать догадки, не мог составить мнение.

– Насколько ты занят?

– Пока все тихо.

Хуртиг коротко пересказал свое новое дело и попросил Олунда проверить, не было ли еще самоубийств, в которых фигурировала бы магнитофонная кассета.

– И свяжись, конечно, с Норвегией, Данией и Финляндией. Кто его знает.

Олунд кивнул, и Хуртиг добавил:

– Кстати, Биллинг говорил, что Шварц занимается чем-то возле Хорнстулля. О чем речь?

– Машина доставки переехала одного парня прямо перед Лильехольмсбрун. Подозревают халатность, может быть – причинение смерти по неосторожности, но скорее всего – просто несчастный случай. Шварц сейчас проверяет парня, который попал под машину. Иностранец, документов нет, но главное – он в ужасающем состоянии. Повреждения черепа. Скорее всего, его избили, а уж потом он попал под машину.

Недалеко от досугового центра, где работает Исаак, подумал Хуртиг. Бывшее промышленное здание в Лильехольмене. Некоторые ребята не шведского происхождения.

– Примерно как тот попавший под машину, которого мы

нашли в Салеме четыре года назад, – продолжил Олунд. – Позвоночник сломан, как и у этого парня; мы тогда тоже думали, что речь идет об избииении.

Хуртиг порылся в памяти. Человек без документов, беженец из какой-то бывшей советской республики. Нашли мертвым на парковке возле салемского кладбища; в конце концов случай списали на дорожно-транспортное происшествие. Узнать удалось только имя. Дима, вспомнил Хуртиг.

Когда Олунд вышел, Хуртиг закрыл дверь и сунул кассету в магнитофон.

Больше десяти лет он имел дело с такими кассетами. Сколько часов он провел, слушая записи допросов! Искал противоречия в словах подозреваемого. Искал неоправданно длинные паузы или смену тона, которые обнаружили бы ложь или полуправду. Эту скучную работу приходилось выполнять и сейчас, но новые технические средства сделали ее менее затратной по времени.

Хуртиг запустил запись – и, к своему изумлению, услышал только шум. Несколько минут он ждал, не произойдет ли чего-нибудь, но – ничего. Только тихий белый шум.

Он промотал вперед, увеличил громкость, но так и не услышал ни звука.

«Может, техники стерли запись по ошибке?» – успел подумать он, и тут кабинет потонул в адском рёве.

Черная меланхолия

Студия

На следующий день после концерта в Упсале я в студии.

Кое-кто думает, что она находится где-то в Емтланде, но это не так. Другие говорят – в Даларне, и они тоже не правы. Спорить бессмысленно. У глухомани нет границ.

Я в маленькой, вызывающей клаустрофобию комнате; вдоль стены тянутся полки с бэушными магнитофонами. Старый кассетный плеер можно найти за пару десятков, и чаще всего к нему прилагаются наушники.

Входя в предвечерний час в свою нору, я думаю о концерте.

Публика всегда хочет видеть, как я режу себя, хотя большинство уже знает, что значит резаться кухонным ножом. Это как ломиться в открытую дверь.

Я хочу явить боль непосвященным.

Она должна быть настоящей. А чтобы добиться настоящей боли, нужны годы тренировок.

Мужчины сидели в гостиной. Важная встреча. Я должен был вести себя тихо, как мышка, если хотел дожидаться миндального кекса и малиновой газировки. В основном слышался голос отца, и я был горд, что другие мужчины, даже старшие, слушают его.

Я был один в кабинете; персидский ковер стал

сценой, а магнитофон, стоявший на полу, – огромными динамиками. На мне были наушники, и гудевшая у меня в голове музыка – запрещенная музыка – никогда не звучала в этих стенах. Грохот тяжелых барабанов, прежде чем гитара пилой вопьется в череп и все помчится так быстро, что можно потерять равновесие и контроль над скоростью.

«Рейнин блааад фром э лейсерейтед скай,
Блиииидин иттс хоррор, криэитин май стракчер».

Я представлял себе, что у меня в руках электрогитара, и играл так, что пальцы кровоточили, а публика бесновалась там, внизу, за краем сцены.

«Науф ай шелл рейн ин блааад!»

Я снимаю с полки желтый «Sony». Этот плеер я выбрал для него. Для Давида Литманена из Блакеберга.

Сажусь за рабочий стол и включаю компьютер. Тихо жужжит вентилятор; я включаю динамики и создаю новый файл, которому присваиваю название «Кожа создана для ран».

Так он сам захотел.

Он сам распоряжается своей жизнью и, следовательно, своей смертью.

Люди смотрят только на внешнее, и я думаю, что внешний вид имеет большое значение для формирования образа себя и личностного развития.

В детстве я всегда слышал, что у меня пальцы пианиста и что я стану музыкантом.

Мне говорили, что я выгляжу бледным и болезненным,

поэтому я думал, что солнце может повредить мне. Говорили, что мое тело так хрупко, что может рассыпаться от малейшего прикосновения.

Иногда эти мысли возвращаются. Тогда я запираюсь и несколько дней провожу в темноте. Даже не встаю с кровати.

На то, чтобы задать партию барабанам, у меня уходит меньше десяти минут. Простая петля басового барабана, дробь и хай-хэт. Смену каждого четвертого такта я отмечаю звоном. Ничего необычного. Только простой ритм и звон – это, собственно, проба, я бросил на пол крышку от кастрюли, но прозвучало правильно. Пусто и поло.

Я подключаю гитару к звуковой карте. Настраиваю до низкого ре-мажора, после чего нажимаю кнопку записи. Я уже слышу мелодию в голове, и она продлится одну минуту и две секунды.

Детали, важные для правдоподобия.

Три гулких аккорда. Ни припева. Ни палочек, ни барабанной сбивки. Потом бас, такой же низкий, как гитара. Я играю одно и то же, одни и те же ноты, снова и снова.

Я позволил себе вольность украсть часть мелодии из колыбельной Брамса «*Guten Abend, gute Nacht*», по-нашему – «Тихий сумрак ночной». Хотел бы я обладать музыкальным слухом Брамса. Уже ребенком он мог сыграть произведение просто по памяти, а на одном концерте играл на ненастроенном рояле и транспонировал бетховенскую до-минорную сонату на полтона, в до-диез минор. Он мог варьировать один

мотив и развивал то, что изначально было строгой сонатной формой, в нечто большее. Он анатомировал сонату. Резал звуки и показывал всем, как она выглядит на самом деле.

Когда я наконец удовлетворен звучанием баса, который потребовал некоторой переделки, я достаю игрушечный ксилофон, найденный на блошином рынке в Ворберге. Кладу инструмент на письменный стол и направляю микрофон так, чтобы он захватывал как можно больше звука. Немного фонового шума или скрип компьютерного кресла только оживит запись.

Я подчеркиваю основной тон в каждом втором такте, и все вместе звучит печально, потом иду на септу, и это тоже звучит грустно-прекрасно. Через тридцать секунд я беру квинту, и мелодия становится давяще-шероховатой, обозначая боль. Последние полминуты я соблюдаю ритм, но играю просто по наитию. Получается болезненная для слуха какофония.

Закончив с ксилофоном, я топлю все в мощной металлической реверберации, чтобы создать настоящую пустоту. Эта музыка не для наслаждения. Под эти звуки будут умирать.

Одна минута две секунды для живущего в Блакеберге парня с низкой самооценкой.

Я подношу микрофон к губам, кашляю и готовлюсь пропеть ему реквием.

Кожа, созданная для ран. Его собственный текст – и последнее, что он услышит перед тем, как боль наконец исчез-

нет.

Вторая строфа такая же, как первая, и я то реву, то шепчу благую весть. Нельзя, чтобы что-то было понято неверно, я хочу показать разные слои чувств.

Ненависть – это закон. На ненависти стоит воля. Ненависть – это воля.

Меланхолия есть милость, это счастье быть печальным. Меланхолия есть мятеж и отчуждение, и черная меланхолия – это глубокое удовольствие от желания умереть. Попросить мир убраться к чёрту.

Юноша по имени Давид понял все это.

Я записал песню с первого раза. Это необычно, но если такое случается, значит – текст хорош, я верю словам.

Я заканчиваю копировать звуковые дорожки и накладываю их поверх оригинальной, но с едва заметным сдвигом. Этого достаточно. Окончательный мастеринг не нужен.

Кассеты – магнитные носители смерти. Сообщения о смерти.

И еще очень важна упаковка.

Для рисунка на вкладыше я беру черную перьевую ручку. Кричащая рожица, которую я изобразил уже раз семь или восемь; эффект разительный, размытые черно-белые контрасты.

Я кладу готовую кассету в конверт и приклеиваю марку, которую Давид Литманен из Блакеберга вложил в конверт, посылая мне свое пожелание.

Откладываю этот конверт в сторону, открываю другой аудиофайл.

Я закончил эту вещь на прошлой неделе и считаю ее своим *magnit opus*.

Единственное указание, которое я получил, — это что музыка должна длиться двенадцать минут двадцать семь секунд и звучать в момент убийства того, кого любишь.

Хуртиг

Квартал Крунуберг

То, что поначалу было адским ревом, перешло в оглушительную какофонию.

Стоящие стеной звуки рок-гитары и настолько точный ритм барабанов, что Хуртиг понял – это компьютер, а не ударник из плоти и крови. Никто не в состоянии так выдерживать ритм, это ясно даже такому, как я, кому медведь на ухо наступил, подумал он, с возрастающим восхищением слушая поразительную смесь гудящей музыки Судного дня и элегической поэзии.

«Я вслепую кружусь в этой комнате полутемной, мои пальцы касаются острых обломков скалы».

Хуртиг вспомнил, как подростком сидел в своей мальчишечьей комнате в Квиккёе, уносясь мечтами далеко-далеко. Тосковал по месту, где было бы еще что-нибудь, кроме глуши и холода, и где жизнь не вращалась бы вокруг охоты, рыбалки и снежных скутеров.

«Мои руки, простертые к небу, изранены о лохмотья замерзшие облаков».

Музыка прекратилась так же внезапно, как началась, остался только белый шум и тихий гул голосов в коридоре за дверью кабинета. Согласно цифровым часам на магнитофоне, запись длилась девять минут и двадцать две секунды,

включая вступление-шум.

Мысли о детстве в Норрланде напомнили Хуртигу о настоящем. Надо позвонить Исааку, узнать, добрался ли он до Берлина. Исаак, как обычно, уехал поездом, поскольку боялся летать самолетом, и после пересадки в Копенгагене они не созванивались.

Исаак ответил почти сразу и сообщил, что снятый им номер еще лучше, чем на фотографиях.

– Но сейчас я немного нервничаю, – признался он. – Встреча с галеристом из Кунстверке.

Только они закончили разговор, как телефон зазвонил, и Хуртиг узнал номер техников.

– Здравствуйте, меня зовут Эмилия Свенссон. Это я занималась кассетами, которые прислал Биллинг.

Хуртиг не узнал голоса, имя тоже было незнакомым. Наверное, новенькая, подумал он, но не стал задавать вопросов, и женщина продолжила.

По словам Эмилии Свенссон, на кассетах оказались три набора отпечатков пальцев.

– Помимо отпечатков погибшего я нашла двое других, которые и внесла в базу.

– И...

– Да, наша система не без погрешностей. После того как нас раскритиковала Государственная инспекция по контролю за соблюдением закона, направленного против злоупотребления информацией, мы убрали из базы около ста ты-

сяч лиц. Раньше мы удаляли только умерших или тех, чьи имена следовало удалить – например, после признания человека невиновным. Это означает, что сейчас у нас осталась всего половина от прежней базы отпечатков. В старой базе были даже отпечатки тех, кто не совершал преступлений. Например, у кого-то обнаруживалось несколько удостоверений личности или иностранец регистрировался под разными персональными номерами.

– Спасибо за лекцию, – рассмеялся Хуртиг. – Так что вы нашли?

– Сначала ничего, но когда я обратилась в ведомство по делам иностранцев и мигрантов, я кое-что обнаружила.

– Так чьи это отпечатки?

– Они принадлежат некой Айман Черниковой. Политическая беженка из бывшего Советского Союза, проживает на Фолькунгагатан.

Айман

Квартал Вэгарен

Книжный переплетчик XIX века чувствовал бы себя в ее рабочем кабинете как дома.

Более чем столетний книжный пресс с давлением триста килограммов, деревянная машина для сшивания блоков, которую непосвященные часто принимали за настольный ткацкий станок, стопка листов переплетного картона, разнообразные переплетные косточки и резак, ножницы, карандаши, металлические линейки и бесчисленные лоскуты козьей и телячьей кожи. Помещение было маленьким, но Айман его хватало.

Над верстаком тянулись две полки с книгами, находящимися в работе, всякими – от старинных изданий до покет-буков. А еще – ее личные записные книжки, шестьдесят пять штук, проект, которому суждено длиться, может быть, пока она жива.

Айман зажгла свет над верстаком и села.

На столе лежал набор образцов бумаги. Несколько дней назад Айман обнаружила в Гамла-стане магазинчик, который распродавал обои и переплетный картон шестидесятых-семидесятых годов.

Еще на столе лежал большой альбом с казахстанскими фотографиями.

Айман открыла его, посмотрела на первую фотографию. Тощий маленький мальчик, без рубашонки, в коротких синих штанах. Позади – высохшее Аральское море в солнечный летний день.

Слезы. Резь в поврежденном глазу, почти ослепшем от влаги.

Дима тогда собирал металлолом на высохшем морском дне, которое после пятидесяти лет искусственного осушения превратилось в соляную пустыню, полную севших на мель судов и ракетных обломков.

Радиоактивный мусор с космодрома, лежавшего к востоку от моря.

«Мой маленький мальчик», – написала по-русски мама серебрястой ручкой на синем небе фотографии.

Мой маленький мальчик.

Высохший клей на пластмассовых уголках, державших фотографию, совсем раскрошился. Айман лишь слегка приподняла фотографию, и уголок отклеился. Каждый раз как-нибудь фотография отклеивалась, и в гостиной у Айман было уже пятнадцать альбомов с плохо приклеенными уголками. Альбомы нуждались в реставрации, и может быть, она пустит в ход новую бумагу.

На другой фотографии Айман увидела себя и Диму. Они стояли у ларька на тегеранском рынке и продавали ее казахские скатерти и прихватки.

На них был семейный клановый узор – красное, черное и

зеленое.

С тех пор как Дима умер, у Айман совсем не осталось родни.

В прихожей зажужжал мобильный телефон; Айман с неохотой оставила фотоальбом и вышла, чтобы ответить. Какой-то Йенс Хуртиг из полиции Стокгольма хотел, чтобы она явилась в полицейское управление ответить на несколько вопросов. Сказал, что пришлет за ней машину.

Симон

Квартал Вэгарен

Симон лежал на кровати. Нет, не лежал – он был словно намертво прикручен к ней. Тяжелым металлическим болтом, прямо сквозь грудную клетку. Невероятные усилия потребовались, чтобы потянуться за кассетой, лежавшей на ночном столике.

Симон умер в тот миг, как она была готова.

Вскоре ему надо будет прослушать ее. Послушать Голода, а потом положить конец всему.

Пролетело несколько часов; наконец зазвонил телефон.

Звонил Эйстейн; он сообщил, что к вечеру все будет готово, и у Симона в животе тут же запорхали бабочки. Скоро нахлынет эйфория, он почувствует себя непобедимым, проблюется и вывалиется в грязи.

Но ему будет хорошо.

Симон потерял руку. При одной только мысли о шприце он ощутил зуд от сломанной иглы, которая скоро уже два месяца как сидела под кожей у сгиба локтя.

Он оделся и спустился на Фолькунгагатан. Анонсы газет возле табачного магазина на перекрестке Эстгётагатан били в глаза желтым и черным.

«Следов убийцы с Сальтшёбанан не обнаружено».

Иво

Патологоанатомическое отделение

Когда патологоанатом Иво Андрич вкатывал стол с трупом и ставил его в центре зала, у него на сетчатке еще сохранялись очертания истерзанного тела Фабиана Модина. Иво зажег яркий свет и достал необходимые инструменты.

Если не считать монотонного гула холодильного агрегата, в секционной стояла абсолютная тишина. Помимо только что привезенного в зале имелись еще два патологоанатомических стола из нержавеющей стали.

Трое молодых людей, покончивших жизнь самоубийством. Юноша и две девушки, все трое проживали в южных пригородах Стокгольма. Фарста. Рогствед, а новая девушка – в Салеме.

По мнению Иво, самоубийства напоминали эпидемию, и это, определенно, дело полиции, так как полиция хочет, чтобы он сравнил тела и поискал совпадающие факторы в этих смертельных случаях.

Но Иво не рассчитывал обнаружить сходства. Трех ребят, лежащих в этом зале, объединяло только то, что они сами лишили себя жизни. И что они и раньше делали такие попытки.

Не существует никакой надежной статистики касательно попыток самоубийства, но говорят, что их число в десять раз

превышает число самоубийств.

Иво посмотрел на руки последней девушки. Глубокие шрамы вдоль вен, не поперек, что означало – она знала самый эффективный способ. У юноши была повреждена шея после неудачной попытки повеситься, а у второй девушки пострадала печень из-за неоднократных попыток покончить с собой посредством спирта и таблеток.

Эти тела рассказывали о том, какой была жизнь.

Иво знал: самоубийства заразительны. Во время войны в Боснии он видел все это собственными глазами. Тогда, в крайне тяжелых обстоятельствах, люди лишали себя жизни целыми семьями. Иво задавался вопросом, что такое эти крайне тяжелые обстоятельства, и отвечал себе: это когда чувствуешь себя брошенным, когда лишаешься способности видеть хорошее. И война для этого – необязательное условие.

Иво мысленно повторил то, что уже знал о новой девушке. Мария Альвенгрен. Семнадцать лет. Долгая история лечения в психиатрическом отделении. На этот раз девушка выпила коктейль из водки и хлора, после чего прыгнула с балкона, пролетела пять этажей и приземлилась спиной на раму велосипеда. Человеческое тело не создано для таких перегрузок.

У Иво было предположение, почему девушка выпила такую смесь. Возможно, она пыталась приготовить подобие хлоргидрата – снотворного, которое раньше было в ходу в пси-

хиатрических лечебницах, но которое в Швеции изъяли из употребления почти двадцать лет назад. Хлор вступает в реакцию с этанолом, который окисляется в ацетальдегид; иными словами, эффект от принятого девушкой количества смеси был неблагоприятным для здоровья.

Вопрос в том, проглотила ли она что-то еще. Девушка с соседнего стола опустошила две упаковки рогипнола с бутылкой водки.

Пять минут спустя Иво осмотрел вскрытый живот Марии. Этого не может быть, подумал он.

Желудок был наполнен какой-то серой слякотью.

Бумага.

Огромное количество бумаги, разъеденной водкой, хлоркой и желудочным соком. Похоже, девушка съела целую книгу.

Хуртиг

Квартал Крунуберг

– Ее как будто уже вскрыли, – произнес Иво Андрич, и Хуртиг сначала решил, что ослышался – на линии были помехи.

К тому же, когда он услышал имя девушки и где она жила, ему стало нехорошо. Надо немедленно проверить, нет ли здесь связи с молодежным центром «Лилия». Некая Мария Альвенгрен из Салема неважно себя чувствовала и вот теперь покончила с собой. Хуртиг надеялся, что это не та девушка, с которой работал Исаак.

– В животе Марии полно бумаги, – сообщил Иво и продолжил со своей всегдашней обстоятельностью: – Согласно закону, все, что изымается из тела во время вскрытия и что не сохраняют в качестве доказательств, складывается обратно, но статьи закона ничего не говорят о том, что делать, если изрезанные органы смешиваются друг с другом в совершенном беспорядке, расползаются по всему телу. Когда нужно заполнить пустоты, производящий вскрытие пользуется бумагой. Если специалист аккуратен, он может сделать это, соблюдая уважение к покойному. Однако очень немногие мои коллеги так поступают, считая подобное пустой тратой времени. Они делают то, что требует закон, но не более того. Я не одобряю их отношения и эту вечную мятую бумагу.

– Я не очень понял, – перебил Хуртиг, – Марию Альвенгрен уже вскрывали?

– Я сказал – ее *как будто* уже вскрыли. Она проглотила значительное количество бумаги. Кое-где остались фрагменты текста, и я посмотрю, можно ли что-нибудь разобрать. Но мне понадобится время. Я еще позвоню.

Они попрощались, и Хуртиг вернулся к странным отчетам о самоубийствах.

Его не оставляли воспоминания о сестре. Дыра у нее в сердце была слишком глубокой, тьма – слишком плотной. Нить, бывшая спасательным тросом, оказалась слишком непрочной, и Хуртиг не мог побороть отчаяние, снова столкнувшись с тем, что молодые люди устали от жизни. Отказались жить. Сказали – спасибо, нет.

Когда первое горькое горе улеглось, он разозлился на сестру: она словно дисквалифицировала его. И вот сейчас перед ним четырнадцать отчетов, в которых говорится о молодых людях, сделавших то же самое.

Хуртиг снова достал телефон. Через две минуты он получил подтверждение того, что погибшая – именно та девушка, с которой Исаак говорил на Рунмарё. Ее мобильный телефон разбился после падения с балкона, но техники сумели частично собрать его.

Исаак был последним, с кем разговаривала Мария Альвенгрен, и Хуртиг не знал, как он воспримет новость. Сейчас, во всяком случае, звонить не стоило.

Полицейская машина уехала, чтобы привезти Айман Черникову на допрос; полицейские должны были вернуться в течение получаса. Может, чуть позже, если час пик уже начался.

Хуртиг сунул кассету в магнитофон. На футляре значилось – «*Pecka and the Peckers*» и «*Los Bohemos*». Он проверил названия. На одной из пленок было имя известного шведского музыканта-ударника. Обе кассеты записаны в Евле в восьмидесятые годы; учитывая то, что он читал об Айман Черниковой, это казалось логичным. Хуртиг связывался с миграционным ведомством и получил копии собеседований тамошних чиновников с Черниковой, когда она просила политического убежища. Она тогда жила в Евле.

Из магнитофона послышалось потрескивание, потом – одинокое фортепиано. Несколько печальных звуков, похожих на народную мелодию. Мелодический рисунок монотонно повторялся. Наконец – та рок-гитара, и голос проревел: *«Ах, ногти я вырвал из пальцев, руки свои изодрал я в кровь, в боль – о горы и потемневший лес, о черное неба железо, о холодную землю!»*

Именно это слушал пятнадцатилетний мальчик из Кальмара, когда лежал в ванне, косо порезав вены ножом, позанимрованным у отца, одинокого полоукладчика, у которого на руках после смерти жены от рака осталось четверо детей. Тот мальчик был младшим. Отличные отметки в школе, но, по словам учителей, он был не такой, как все. Держался

особняком. Ничем не интересовался, кроме музыки и компьютерной игры «*World of Warcraft*».

Экипаж патрульной машины сообщил, что Черникову скоро привезут в управление.

Хуртиг выключил магнитофон и приготовился к встрече с женщиной, которая, может быть, объяснит, почему ее каскеты нашли у четырнадцати молодых людей, покончивших с собой.

«Ужас, ужас мне жребием стал, болью гортани, воплем души во вселенной...»

Запись длилась десять минут двадцать пять секунд.

10.25.

Айман

Квартал Крунуберг

– Айман Черникова? Год рождения – тысяча девятьсот семидесятый?

Она кивнула.

– Все верно, – подтвердила она и села чуть по-другому. В полицейских было что-то, от чего ей стало неудобно. Они были ей не то чтобы неприятны, скорее – чужаки, и от этого кожа покрывалась мурашками. Уже когда ее ввели в кабинет и Хуртиг поздоровался с ней, в груди разлилось жжение. Она разнервничалась? Нет, с чего бы? Ее ни в чем не обвиняют... Но сердце все-таки тяжело колотилось.

Он приветливо посмотрел на нее, прежде чем заговорить.

– По нашим сведениям, вы родились в Алма-Ате, в Казахстане. В возрасте трех лет родители перевезли вас в Тегеран, а в восьмилетнем – в Минск. Правильно? – Хуртиг откинулся всем своим длинным телом на спинку стула и провел рукой по светлым волосам. Айман подумала, что он выглядит сильным.

– Да, только Алма-Ата сейчас называется Алматы.

Хуртиг, кажется, не услышал ее замечания.

– Вы росли у дяди, Михаила Черникова, – продолжил он. Лизнув палец, полистал бумаги в папке. – Почему вы уехали из Ирана в Советский Союз?

Голос у полицейского был мягким и дружелюбным, но зачем все эти вопросы?

– Я прожила с Мишей в Минске почти семь лет, когда училась в институте на отделении художественной гимнастики, – объяснила Айман. – Вот почему я уехала из Тегерана. Чтобы иметь возможность учиться.

Правда была не такой простой. Родители Айман умерли в тюрьме во время правления последнего шаха, Мохаммеда Резы Пахлави, и единственным, кто смог позаботиться о ней, был дядя Миша.

Айман засомневалась, достаточно ли подробно отвечает, и добавила:

– И чтобы стать настоящим коммунистом, конечно.

Наверняка это есть в бумагах. А вот того, что тысячи иранцев искали убежища в Советском Союзе под предлогом верности коммунистическому учению, хотя на самом деле просто стремились уйти из-под власти шаха, а после него – аятоллы, в полицейских бумагах не было. Для многих это оказалось из огня да в полымя. Но не для Айман. Она выстояла.

Айман так и не простилась со своими родителями. В Минск пришла телеграмма с коротким сообщением – формальным и безличным, как уведомление телеграфного бюро.

Чьи-то отец и мать умерли от дизентерии в государственной тюрьме. Это все.

Полицейский некоторое время с интересом рассматривал

ее, после чего снова начал листать бумаги.

– Да, я вижу, что вы учились, – сказал он немного погодя. – И вижу, что были талантливой гимнасткой и бежали в Швецию во время соревнований в Мальмё. Посмотрим... в восемьдесят четвертом? Сначала вы жили в Евле, а в восемьдесят девятом переехали в Стокгольм?

Зачем он спрашивает, подумала Айман, если и так всё знает?

Ее удивляло, что полицейский не задал ни единого вопроса о ее хиджабе. Даже не подумал получить подтверждение того, что она мусульманка. А ведь как часто люди придавали этому большое значение.

– Где вы работаете?

– Преподаю переплетное дело и писательское мастерство в «Лилии», молодежном центре. Подрабатываю в городской библиотеке и иногда – в Королевской библиотеке.

Хуртиг вдруг удивился.

– В «Лилии»? – переспросил он. – Тогда вы, может быть, знаете Исаака Свэрда?

Она кивнула.

– Забавно, – сказал Хуртиг. – Исаак – один из моих самых близких друзей.

Он как будто хотел сказать что-то еще об этом совпадении, но не стал.

– Ну тогда покончим с формальностями, – объявил он наконец. – Осталось только указать настоящую причину, по ко-

торой вы здесь.

Хуртиг поднялся, подошел к стеллажу возле двери, взял с полки картонную коробочку, поставил ее на стол и снова сел. Открыв коробку, он достал магнитофонную кассету.

– Узнаете вот это?

Айман тут же узнала кассету.

– Да, это... – Она задумалась. Ей было семнадцать, она третий год училась в гимназии Васаскулан в Евле, а он – тот, кто подарил ей эту кассету, – был на два года младше. Он был влюблен в нее, а она этого не поняла. – «*The Smiths*» и «*Jesus and Mary Chain*», – сказала она, гадая, где сейчас тот школьный приятель. – А как она сюда попала? Около года назад я отнесла в «Мюрурна» на Гётгатан несколько пакетов с одеждой и старыми видеофильмами. И много кассет.

Хуртиг кивнул.

– Примерно это я и ожидал услышать.

– Но я не понимаю, где вы ее нашли.

У Хуртига был печальный вид.

– Именно эта кассета попала на один хутор в Кунгсгордене.

Айман заметила, что ему трудно рассказывать; его голос сделался глухим, когда он сообщил то, что было известно полиции. По его глазам Айман видела, что он не хочет заниматься этим расследованием – и понимала, почему.

– Примерно то же произошло, когда вышел роман Гёте «Страдания юного Вертера», – сказала она, когда Хуртиг за-

кончил. – Главный герой покончил с собой – и множество молодых людей, прочитав книгу, сделали то же самое.

Хуртиг как будто задумался, но ничего не сказал в ответ на ее наблюдение. Может быть, оно было притяннуто за уши.

– Вы знаете девушку по имени Мария Альвенгрен? – вдруг спросил он, и у Айман сердце екнуло. Она кивнула, понимая: сейчас он скажет, что Марии больше нет в живых. Но Айман не хотела об этом знать. Она хотела жить в уверенности, что в эту минуту Мария играет на гитаре где-нибудь в «Лилии», пьет чай с Ваньей в буфете, а потом выйдет на террасу покурить.

Неловкие подростковые затяжки, дым во рту.

Но этого она не слышала. Под конец Хуртиг задал еще несколько вежливых вопросов.

Не хочет ли она, чтобы кто-нибудь отвез ее домой?

Нет, спасибо. Ей на работу, и она лучше доедет до Лилье-хольмена на метро.

Чашку кофе или еще что-нибудь?

Может быть, он проявляет заботу о ней, задавая все эти вопросы? Хочет, чтобы она подумала о чем-то еще, кроме как об одной юной девушке, которой больше нет в живых?

Или он задает эти вопросы ради себя самого?

Айман не пьет кофе, потому что беременна. стакан воды будет кстати, если это вас не затруднит.

– Вы беременны? – Полицейский окинул взглядом ее тело. – По вам не скажешь, – добавил он, прежде чем встать со

стула. – Подождите, я сейчас принесу графин.

«Зачем я это сказала?» – подумала Айман. Никто, кроме нее и врача из женской консультации, не знал, что она ждет ребенка.

Когда Хуртиг вышел, Айман огляделась в кабинете.

На стене карта. Приколотые фотографии из старых журналов. «Поздравляю, братишка!» – значилось на одном «пузыре». Рядом висела фотография молодой женщины, но в остальном кабинет был до изумления безличным. Айман предположила, что когда этот человек на работе, то он работает.

Вернувшись со стаканом и графином воды, Хуртиг смущенно улыбнулся ей.

– Простите, что задержался. Я ошибся дверью.

Айман взяла у него стакан с водой:

– Ошиблись дверью?

– Да. Вы, может быть, обратили внимание – на двери другое имя.

Конечно, обратила. На табличке значилось «Жанетт Чильберг, комиссар».

– Я зашел в свой старый кабинет, – признался Хуртиг. – Исполняю обязанности вот уже скоро год, но все равно иногда путаюсь. Особенно когда немного устаю. Как теперь. – Он снова сел. – Кстати, а что у вас с глазом? Старая травма? Айман кивнула, но ничего не сказала.

Хуртиг

Квартал Крунуберг

Ее кто-то избил, подумал Хуртиг, когда женщина ушла.

Он и раньше видел подобные повреждения глаз. Причиной чаще всего бывало насилие, а преступником, как правило, оказывался кто-то из близких. Родители или ее дядя, который вдобавок служил в белорусском КГБ. По сведениям полиции, она не замужем, но беременна – возможно, у нее есть приятель.

Хуртиг понял, что только что встретил человека, за плечами у которого тяжелый опыт. Не только поврежденный глаз свидетельствовал о совершившемся насилии – и здоровый тоже. Хуртиг отлично распознавал такие вещи, особенно после того, как пять лет назад ему самому довелось пережить подобное. Он видел изменения в своем отражении в зеркале каждый день. В своих собственных глазах.

Дело о мальчиках-иммигрантах.

Когда наблюдаешь такие преступления из первого ряда партера, неудивительно, что происходящее оставляет на тебе след. Пытаясь отвлечься, он старался, хотя почти безуспешно, стать другим человеком. В разгар расследования он встретил Исаака в баре Сёдера, и они стали друзьями. Йенс Хуртиг, деревенщина из мрачайшего Норрланда, подружился не просто с гомиком, а с гомиком-художником.

Который знай себе мажет холст красками и разъезжает по миру.

Хуртигу нужны были новые впечатления, и Исаак стал одним из них. И все еще оставался.

Сам Хуртиг не знал, кто он. «Познай самого себя» – проект длиною в жизнь.

Он открыл бумажник и достал почтовое извещение.

Как же хорошо забрать игру по дороге домой. Может, поиграв, он сумеет дистанцироваться от своего взрослого «я». Пробудить старые ощущения.

Ванья

«Лилия»

Молодежный центр «Лилия» располагался в старом фабричном здании красного кирпича; из окон открывался вид на залив Лильехольмсвикен и разводной мост, соединяющий эту часть города с Сёдермальмом. Ванья сидела с сигаретой на террасе кафетерия и смотрела, как суда проплывают под машинами, а машины едут над судами. Время от времени мост разводили, чтобы пропустить крупное судно.

Айман опаздывала, но это не имело значения. Наоборот, хорошо: у Ваньи было время, чтобы выплакаться.

Марии больше нет, с этим ничего не поделаешь. Ванья понимала, что ее слезы – это конец.

Быть твердой, подумала она. Иначе тебе конец.

Имей силы выстоять.

Хорошо бы напиться. Чтобы меньше думать.

Ей совершенно не хотелось идти в кафетерий. Слишком много там так называемых друзей, поговорить спокойно не выйдет. Она прикурила новую сигарету от старой; один из кураторов вышел на террасу, обнял Ванью, сел по другую сторону столика.

– Я прихватил плед, – сказал он, протягивая Ванье один из пледов, которые вязали в ателье девчонки из Бредэнга. Тупые курицы, вяжут свои пледики каждый божий вечер, что-

бы убить время. Когда Ванья представила себе, как они сидят и вяжут, ей стало еще хуже.

Вязание – бегство от реальности, бездумная попытка отодвинуть проблемы.

Мария была не из вязальщиц. Она выбрала другой способ справляться с чувствами.

– Я не смогу, не в состоянии буду пойти на похороны, – сказала Ванья, закутываясь в плед. Не смогу, не выдержу, подумала она, потому что я плохой человек.

– Уверена? – спросил руководитель и попросил у нее сигарету. Не в первый раз. Он был единственным известным Ванье взрослым, за исключением пьяниц и бомжей, который стрелял сигареты у шестнадцатилетки.

Она протянула ему пачку. «Как это вышло?» – подумала она. У нее были все основания чувствовать себя отлично. Пока она не решила чувствовать себя паршиво.

Поначалу она притворялась, что ей паршиво: так она чувствовала себя значительной и в центре внимания. Потом ей стало паршиво по-настоящему, потому что ей было стыдно за то, во что она превратилась.

Может быть, из-за нее и Пол пьет так много.

Во всем виновата она, и вот теперь она сидит и думает о самой себе.

Хотя умерла-то Мария.

На террасу вышла Айман. Куратор поднялся, и Ванья заметила, что его слезные каналы еще не пересохли. Что он все

еще способен чувствовать. Ваня получила соболезнающий взгляд, после чего руководитель извинился и ушел в кафе-терий к вязальщицам.

– Как ты? – спросила Айман.

Ваня рассказала. Не о том, как она себя чувствует. Только о том, что она все узнала по телефону от мамы Марии и что ее вырвало, едва они распрощались. Потом она целый день пролежала в кровати, а теперь вот решила прийти сюда.

– Ты писала что-нибудь?

– Нет, не писала. Не могла.

– Помнишь текст, который ты показывала мне неделю назад?

Ваня кивнула. Она прекрасно помнила тот текст, потому что ей пришлось попотеть, чтобы найти верные фразы.

Писать – это единственное, что еще дает мне силы дышать. Когда я пишу, мне лучше, мне почти хорошо, но как только я откладываю ручку, чувства пропадают. Часто я ненавижу свои собственные слова. Так же часто мне кажется, что они банальны, ничего не значат. Но иногда, лишь иногда, я как будто нахожу смысл во всем. Я чего-то жду, чувствую нечто вроде умиротворения, я как будто начинаю понимать саму себя.

– Я чувствую то же, что и ты. – Айман перегнулась через стол. Она вздрогнула, как от холода, а голос был тихим, словно она делилась с Ваней чем-то сокровенным. – Писать – это как жить, а читать то, что написал другой, – это как про-

жить жизнь другого внутри себя.

Ваня знала, что Айман помогает сбившимся с пути подросткам, позволяя им взять часть ее собственной жизни. Ее собственного безумия.

Ваня подумала – поняла ли Айман то стихотворение, которое Ваня показала ей, а потом отослала Голоду.

Быть разорванной выбором.

На мосту между надеждой и отчаянием.

Между «Лилией» и Нивсёдером.

Айман «Лилия»

Она зашла в кафетерий. Налила свежей воды для чая. Обычно в те вечера, что она работала в «Лилии», она выпивала чашки три-четыре. Зеленый чай богат антиоксидантами. Он должен быть полезен ребенку в ее животе. Вернувшись в мастерскую, Айман остановилась за спиной у Ваньи с дымящейся чашкой в руке и стала наблюдать за сосредоточенной работой девушки.

«Путешествие в Дамаск» и «Игра снов» Стриндберга из собрания сочинений. Невзрачная книжка карманного формата в дешевом переплете, с мутноватым шрифтом; на страницах тесно из-за узкого набора. Но книжка в хорошем состоянии, и Ванье нравятся обложка и иллюстрация тушью – поясной портрет серьезного Стриндберга. Свет падает справа и придает одному глазу выражение печали – тому же глазу, который у Айман поврежден, однако другой глаз Стриндберга смотрит жестко и строго.

– Посвящение классное, – сказала Ванья, протягивая Айман книгу. – Такое, блин, патетичное.

На титульном листе значилось «Я люблю тебя». Ни дарителя, ни адресата – только объяснение в любви. Три слова защекотали фантазию Айман.

– Я не очень люблю «Дамаск», – заметила она. – Пьеса

кажется упражнением перед «Игрой снов».

– Тогда, я думаю, «Дамаск»отрежем. – Ванья взяла один из ножей и примерилась к книге. – Отрезать надо не только заглавие, но и всю пьесу. В моем переплете будет только «Игра снов».

Айман нравилось смотреть на творческое своеволие юной девушки, которая, кажется, не опустила руки, хотя совсем недавно потеряла одну из своих лучших подруг.

– Вольтер проделал такое с романами Рабле, – сказала Айман и рассказала, как писатель вырезал понравившиеся ему страницы и переплел их в собственную версию «Гаргантюа и Пантагрюэля».

– Тогда, думаю, это забавное посвящение получит собственное место на задней странице и будет карминно-красным. Обложку сделаю с кожаными уголками.

Ванья снова нацелилась на книгу острым, как бритва, ножом. Потом повернула руку так, что обнажилось запястье, и на миг Айман показалось, что она собирается воткнуть нож себе в руку.

Но Ванья провела острием ножа над текстом на задней обложке.

Она фыркнула.

– Пожалуй, возьмем цитату целиком. Вот послушай: «... все возможно и вероятно. Герои расщепляются, раздваиваются, испаряются, уплотняются, растекаются, собираются воедино. Времени и пространства не существует. Минута тя-

нется, как многие годы, времен года не существует, снег ложится на летний пейзаж, на зелено-желтую липу».

– Описание логической бессвязности сна, – сказала Айман, подумав, что это определение как нельзя лучше подходит для воспоминаний о ее собственной жизни.

Казахская степь, путешествие в Тегеран на ржавом автомобиле. Потом Минск и гимнастический зал. Бегство в Швецию. Черные дни в Евле, потом светлые – в Стокгольме, которые под конец тоже стали черными. Поездка в Берлин. Путаница в памяти. Дима умер, но все-таки жив.

Ванья отложила книгу.

– У меня тоже есть кое-что, что надо переплести. – Она расстегнула сумку, вынула потертый ежедневник и положила его на стол. – Написал один чувак, который день за днем докладывает о погоде и какие машины проехали мимо.

Айман взяла ежедневник в руки. Полистала, увидела внизу на последней странице имя и адрес владельца.

– Реставрация? Какой сделаешь переплет?

– Эксклюзив, – ответила Ванья, глядя в сторону.

Симон

Квартал Вэгарен

Он проснулся, как волк. Без слез, голодный, с сухим языком.

Он и раньше так просыпался – с щекочущим ощущением, что пора наконец пришла, но всегда его ждало разочарование. Ни ему, ни другим не хватало энергии, чтобы воплотить великие планы в жизнь. Планы были, но не по-настоящему величественные.

Все пошло трещинами.

Не только я, а вообще всё, подумал он и натянул одеяло на голову. Как у других получается не видеть грязь, разруху и что неизбежный конец уже совсем близок?

Воздух под одеялом скоро стал спертым, и он принялся убеждать себя, что так и должно быть. Гниение.

Настоящей причиной пробуждения было то, что его тошнило. Он разбит, он оказался не в том месте, не в том мире.

В квартире было тихо, и Симон предположил, что Эйстейн и прочие убралась восвояси. Вечером они встретили трех парней, блэк-металистов из Фалуна. Наверное, они еще увидятся, может – на концерте. Эта деструктивная сцена больше любой другой, потому что потребность в освобождении больше, чем где-либо.

Мир так непонятен, а лезвие бритвы хоть немного прими-

рвет с ним.

Он потянулся за блокнотом. *«Я то, что я делаю, все прочее – воздух и пустая трата энергии, –* написал он и подобрал бритву, лежавшую на полу у кровати. *– Только в своих действиях я живу».* Он прижал острую сталь к внутренней стороне левой руки и медленно провел бритвой вниз по запястью. Кожа раскрылась, раздвинулась, из глубокого пореза сначала не вышло ни капли. Края раны были белыми. Он словно средневековый флагеллант, пытающийся победить Черную Смерть. Потом появилась кровь.

Первый раз, когда он порезал себя, зафиксировался как самый яркий, все последующие были не более чем бледной копией. Но все же напоминали о том, первом разе.

В героин он влюбился с первого шприца. Героин соблазнял, был его товарищем по играм. Сейчас он превратился в чудовище, пожиравшее Симона изнутри.

В ванной Симон отыскал бинт, крепко обмотал руку и сел на диван в гостиной. Он ощущал умиротворение, но знал, что это чувство преходяще. Факин шит, мать его.

Когда все двери заперты и нет ключей, человек имеет право сдать. Какой смысл предлагать противнику ничью, если расстановка фигур на доске ясно показывает, что ты не можешь выиграть партию.

Глухую, плотную тишину гостиной еще больше подчеркнула сирена – внизу, по Фолькунгагатан, проехала машина срочного вызова. Остановилась, помчалась дальше к Гётта-

тан. Звук пометался между стенами, исчез в прихожей, потом – дальше, во внешнем коридоре, оставив после себя ощущение внезапного присутствия и такого же внезапного исчезновения.

Тишина – это отсутствие звуков, подумал Симон. Точнее – неприсутствие звуков. Только когда нет звуков, можно прожить тишину. Можно ощутить оглушительную тишину в разгар футбольного матча – или обнаружить, что горный склон в глуши полон звуков.

Симон вспомнил длинные прогулки в лесах Витваттнета в Емтланде. Чаще – в одиночестве, но иногда в обществе Эйстейна. В основном молчали, а если переговаривались, то негромко. Почти шепотом.

Вопросы, которые он задавал себе ребенком, остались теми же.

Шумит ли, падая, дерево в лесу, если рядом никого нет и никто не может услышать шум?

Живет ли человек, если на него никто не смотрит? Или существование человека подтверждается только тем, что его видят?

Легенда не может родиться в отсутствие отголосков, и по этой же причине герою требуется зеркало. Зеркало есть свидетель, а герой – не герой, если на него никто не смотрит.

Симон в те годы всегда проводил лето в Витваттнете. Именно там он и познакомился с Эйстейном – у его родителей тоже был участок в коммуне. Мечты далеко уносили

обоих мальчиков. Они собирались завоевать мир, а если не выйдет, то убить как можно больше народу. Ничего невозможного: у отца Эйстейна было два охотничьих ружья и старый револьвер времен Второй мировой.

Они могли бы каждый день ходить в поселок и убивать, сколько вздумается. Оружейный шкаф не запирали.

Симон услышал, как проехала еще одна машина экстренного вызова. Сирены отзвучали где-то во дворе, после них вернулась пустота, которую они только что украли, и гостиная обрела свою всегдашнюю болезненность.

Скоро начнется вытрезвление, и он станет разваливаться на куски.

Кишки взорвутся, мышцы скрутит, его тело будет выжато, словно тряпка.

В кухне Симон включил кофеварку. Приятно-бессмысленное опьянение еще не прошло; он сел за стол и закурил, ожидая, когда кофеварка зафыркает.

На перилах внешнего коридора лежал в бледном свете соседский черный кот. Симон подумал: а как это – убить животное?

Он подумал о соседке. Она частенько сидела, расстелив плед, во внутреннем дворе и читала. Иногда он тоже там читал, но на лавочке на игровой площадке. Соседка была очень красива и как будто родом с Ближнего Востока, хотя фамилия звучала, как русская.

Симон выбросил окурок, налил себе кофе и стал ждать

дурноты.

Миф о профессоре-таксисте или профессоре-уборщике – правда; соседка Симона может оказаться хирургом, которая вынуждена работать санитаркой.

Едва он это подумал, как кот соскочил с перил, и Симон услышал, как соседская дверь открылась. Тут его и затошнило – гораздо раньше, чем он ожидал.

Он даже не успел добежать до туалета. Его вырвало на пол и стену прихожей прежде, чем он успел рвануть задвижку. Желудок вывернуло наизнанку.

Хуртиг Сибирь

Едва сняв куртку, он открыл посылку с видеоигрой. «*Telstaren*» семьдесят седьмого года. Отложил, не думая, включил телевизор, но запускать игру не стал. Не было ни сил, ни желания, к тому же его больше интересовала «*Atarin*», что постарше (и подороже).

Вместо того чтобы играть, он позвонил Исааку – услышать, как он там. Услышать, что все под контролем. Послеобеденный разговор прервался слишком скоро.

– Загрунтовал несколько холстов, – поведал Исаак упавшим голосом, – и вот стою я перед тремя незаконченными картинами и понимаю, что моя живопись неактуальна. Она абсолютно статична.

Хуртиг попытался ободрить его, напомнив о выставке в галерее «Ист-Сайд». Остатки Берлинской стены. Самая длинная в мире галерея, которая растянулась почти на полтора километра вдоль реки Шпрее. Хуртиг не помнил картин Исаака. Зато помнил процесс о нанесении ущерба: кто-то вырубил из стены несколько глыб, а еще кто-то изрисовал ее краской из баллончика.

– Картина попала в мешок со строительным материалом, – сухо усмехнулся Исаак. – Ту часть стены снесли, чтобы построить спортивную арену. Развезли по всему Берлину на

щебенку. Но ты прав. *Это* было интересно. Рисование не ради рисования.

Хуртиг понимал, что должен рассказать о погибшей девочке, но подозревал, что Исаак занят своими мыслями, а остальное ему неважно, и решил выждать.

Они попрощались, Хуртиг сделал телевизор погромче и вскоре обрел компанию в виде диктора новостей. Когда диктор покончил с событиями дня, Хуртиг стал ждать погоды и спорта.

Он открыл пиво и сел на диван. Новости уже успели перетечь в сводку погоды. Диктор констатировал, что в Стокгольме весь день идет дождь. Хуртиг выглянул в окно. Дождя не было. Сухие осенние листья шелестели на ветру.

Новости спорта начались, когда пиво как раз закончилось. Бессодержательные интервью и бесконечные подсчеты результатов Хуртиг находил успокоительными. Телевизор бубнит, но слушать не обязательно.

Неплохо было бы любить музыку. Тогда можно бы вместо спортивных сводок слушать Баха или Моцарта.

Хуртиг никогда не понимал музыки, и, как он думал, не только потому, что ему медведь на ухо наступил. Ему трудно было сформулировать причину, но, по его мнению, музыка должна вызывать нечто вроде восторга сродни религиозному, а у Хуртига были проблемы с восторгами такого рода. Подростком он сделал несколько безуспешных попыток приобщиться к музыке. Просто взял, что под руку подвернулось,

а подвернулись «*Dire Straits*» и «*Status Quo*» – они оказались на полке с пластинками дома у приятеля. Большой ошибки и вообразить трудно.

Хуртиг встал с дивана, сходил на кухню за очередной банкой пива. На сегодня – последней. Сегодня ночью надо спать. Он устал из-за этих проклятых самоубийств и не мог сосредоточиться, потому что не понимал их.

Когда Хуртиг вернулся в гостиную, по телевизору шла программа о подборе персонала. Эксперт утверждал, что шведские предприятия работают вполсилы, потому что работники сидят не на своих местах.

Интересно, подумал Хуртиг. Наверное, мне вообще нечего делать в этом расследовании. Музыка и самоубийства. Со всем не мои сильные стороны.

Хуртиг переключил на другой канал. Передача о жизни животных Свальбарда больше соответствовала его настроению, но мысли Хуртига уже перенеслись к сестре, и он понял, что на сегодня хватит и что спать он, вероятно, будет неважно.

Примерно через час он осознал, что с пивом тоже получилось неважно. Он пил четвертую банку, а на диване рядом с ним стояла картонная коробка, которую он выволок из гардероба.

Коробка с воспоминаниями. Письма, открытки и фотографии, пара старых школьных альбомов и альбом со старыми комиксами про Фантома – вырезки из газеты Норра-Ве-

стерботтена.

Еще там лежало расследование Государственного управления социальной защиты населения о самоубийстве его сестры, документ на нескольких страницах, констатирующий: причин, по которым психиатрическое отделение лена Норботтен должно было бы вмешаться в данный случай, не обнаружено.

Хуртиг читал, не понимая ни слова из профессионального жаргона – так же, как тогда.

«Помимо вынесения профессиональной оценки и перечисления предпринятых мер Государственное управление социальной защиты подчеркивает следующее. Из истории болезни не всегда возможно вывести степень склонности пациента к суициду, а когда риск суицида есть, не всегда видно, на чем основано такое заключение. Пациентка совершила две попытки самоубийства».

Кажется, чиновники сами ничего не поняли. А как тогда может понять он?

Хуртиг снова сунул документы в коричневый конверт, в котором они пришли из ландстинга, а конверт отложил в сторону. На самом деле он искал не это. Хуртиг продолжил рыться среди сложенных в коробку бумаг.

Да, вот оно. В самом низу.

После целого дня работы с теми кассетами неудивительно, что он вспомнил об этой. Она лежала в поцарапанном пластмассовом футляре. На наклейке значилось «Лина кри-

чит».

«Что я делаю?» – подумал Хуртиг, открыл футляр и достал кассету, зная, что ему не следует ее слушать.

Его сестре было тогда не больше полугода; она невольно стала реквизитом в школьной пьесе, где он играл, когда учился в начальных классах.

Он не помнил, о чем была та пьеса, помнил только крик из коляски на сцене и что магнитофон был спрятан под одеяльцем. Лина вопила в полупустом актовом зале школы в Квиккъякке. А через несколько минут точно так же завопит в пустынной квартире в стокгольмском районе Сибирь.

Симон

Квартал Вэгарен

– Так не пойдет. – Эйстейн презрительно смотрел на него. – Никаких вытрезвлений, соображаешь? Следи, мать твою, чтобы у тебя всегда что-то было под рукой. Во всяком случае – до возвращения из Сконе.

У Симона сил не было думать о поездке в Сконе. Ни хрена не было сил. К тому же ему требовалось что-то, чтобы забыть о зубной боли. Челюсти будто зажало в тиски; кажется, придется прибегнуть к помощи отцовского стоматолога.

Симон вообще не понимал, как функционирует Эйстейн. Иногда тот кололся, но не особенно часто. А еще Эйстейну никогда не бывало плохо – просто не бывало, и все.

Объяснение могло заключаться в том, что Эйстейн втихую принимал субоксон, когда мог его достать. На улице или у какого-нибудь коновала. Попасть в наркологическую клинику сейчас почти невозможно, и Симон понимал: система здравоохранения просто смотрит на него и на Эйстейна как на отбросы. При таком положении дел врач, который продает из-под полы субоксон, – это хороший врач.

После шприца сердце начало снова закачивать в тело энергию.

Эйстейн исчез, и Симон остался один. Иногда он сомневался, что Эйстейн существует на самом деле. Эйстейн реду-

цировался до некоего канала, связки между героином и Симоном.

В спальне Симон выдвинул ящик ночного столика.

Кассета все еще лежала там. Голод ждет его. Ждет, когда наступит правильный день.

Черная меланхолия

Студия

Я – одинокий человек. Я не считаю другом даже свою душу, так что оба мы – не более чем двое разложившихся мертвецов, которые делят одну могилу.

Героин усиливает меланхолию. Легитимирует ее. Я знаю, что это дисгармония, но хаос есть предпосылка порядка.

Меланхолия – греческое слово, оно означает «черная желчь», понятие, центральное в учении о телесных жидкостях.

Между телом и душой должно царить равновесие. Гармония между сердцем, мозгом, желтой желчью в печени и черной – в селезенке.

Черная меланхолия – это тавтология. Черная черная желчь. Я умру.

Я скоро умру.

Мои единственные друзья – мои слушатели, и больше всего мне хочется, чтобы они тоже умерли. Как Давид Литманен из Блакеберга. И девочка из Моргунговы, у которой день рождения третьего ноября. Это завтра, что означает – она следующая.

Сядясь за компьютер, я ощущаю возбуждение, ликование. Минусовка едва начата. У меня один час десять минут, и еще десять минут дополнительно. Я знаю, что больше не осилю,

так что, может быть, это даже перебор. Зависит от того, смогу ли я записать последний номер перед паузой. Двенадцать минут под этим гладильным прессом – и я обычно теряю контроль. Дело в моей матери.

Все началось прекрасным летним днем, когда мама взяла меня на руки и спустилась к железнодорожным рельсам.

Мне было пять лет; она сказала, что я похож на нее, и что я на самом деле – одно целое с ней, и что мы вместе совершим священнодействие.

Господь велел ей сделать это. Вполне вероятно, потому, что Господь всегда говорил нам, что делать и чего не делать. Например – не смотреть телевизор или не стоять под душем больше пяти минут, ведь главное для человека – быть чистым, а греться и нежиться незачем.

Потом Старейшины объяснили, что дьявол явился к ней под чужой личиной.

Вот такое дерьмо. Мама была живая. Я тоже. Никогда мы не были такими живыми вместе, и все, что я делаю, я делаю, чтобы вернуться к тому моменту, там, внизу, у железнодорожных путей, с мамой.

Жизнь – это смерть. Почему этого никто не понимает?

И ощущение «я мертвый и я живой одновременно» всегда ярче, если делишь его с кем-то еще. Смерть и жизнь – это пара. Как орел и решка. Ночь и день.

Мы делали это вместе – она и я.

Ведь все становится легче, если ты не один.

Если ты с кем-то.

Я съезжился у мамы на руках. Легкий ветер шевелил ей волосы, я слышал скрежет приближающегося поезда. Я ощущал ее запах. Запах ржавчины и металла означал смерть; я чувствовал тепло солнца и маминых рук. Вибрация рельсов, стыки, колебания деревянных шпал.

И наконец – визгливый свисток поезда и бабочка-адмирал, порхнувшая мимо.

Мне было пять лет, и я не хотел умирать.

Не больше двух часов потребовалось мне на то, чтобы превратить минусовку в подобие платформы, с которой можно отправиться в путь, но после работы я выжат как лимон.

А вечер только начался.

Айман

Квартал Вэгарен

Она молилась Богу не пять раз в день, потому что молилась она не ради молитвы.

Этим вечером она молилась за Диму, и молитва – частное дело между нею и Богом.

Такой же свободный выбор, как ее выбор носить хиджаб. В Советском Союзе с его секуляризацией открыто следовать религиозным предписаниям было небезопасно. Носить хиджаб считалось мятежом, и покрывало все еще – почти тридцать лет спустя – служило демонстрацией ее свободолюбия.

Айман в ту ночь спала беспокойно и около трех открыла глаза.

Снова уснуть не получилось. Айман зажгла свет и потянулась за коробкой, стоящей под кроватью. Она знала, что у Вани под кроватью есть такая же.

За две недели до смерти, почти шесть лет назад, Миша отправил Айман эту коробку. В ней помимо покрывал семи разных цветов содержались памятные вещи из Минска. Все, что Айман пришлось отставить, когда она перебралась на Запад. Старые гимнастические туфли, костюмы сборной Советского Союза – красные, с серпом и молотом, ее призы за соревнования в Москве, Ростове и Санкт-Петербурге. Па-

мать о ее детском тренере, гимнастке Ольге Валентиновне Корбут: фотографии с автографами, марки, вырезки из газет и видеокассета с выступлением на Мюнхенской Олимпиаде 1972 года, где Минский Воробей взял три золотые медали.

Айман закрыла крышку. Затолкала коробку под кровать, потушила свет и задумалась о своей эмигрантской жизни.

Несмотря на проведенную в Минске в изоляции юность, а до этого полное лишений детство, побег из Алма-Аты и черные времена в Тегеране, Айман не считала, что ей есть на что жаловаться. Могло бы сложиться хуже, намного хуже, но все же чего-то как будто не хватало, и она не знала точно, чего. Корней? Точки опоры?

Знания, что все могло быть по-другому?

Не то чтобы жизнь жестоко обошлась с ней. Скорее, жизнь просто забыла ее. Пренебрегла ею. Когда она, трижды изгнанница, окидывала взглядом прожитые годы, она словно смотрела издалека. Айман слушала, наблюдала, но не принимала участия в происходящем.

Мечты стать новым Минским Воробьем умерли в ту минуту, когда она ступила на шведскую землю, но она не горевала об этой потере. В ее жизнь мог бы проникнуть долгий ряд несчастливых обстоятельств, которые принудили бы ее отказаться от жизни, но она не отказалась.

Багаж опыта не оттягивал ей руки – в нем лежали только порошковое молоко и высушенная и замороженная еда. То, что пригодится в пути.

К тому же жизнь в тройном изгнании дала ей хороший слух на языки.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.